

Лидия Гинзбург

ПРЕТВОРЕНИЕ ОПЫТА

«АВОТС» РИГА
АССОЦИАЦИЯ «НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЛЕНИНГРАД
1991

Т 492

Книга издана издательством «Авотс»
совместно с Ассоциацией «Новая литература»
г. Ленинград

Редактор Н. Кононов
Художник В. Решетов

4702010201—172
Т _____
М 803(11)—91

ISBN 5—401—00676—4

© Л. Гинзбург, 1991
© состав, послесловие, оформление
Ассоциация «Новая литература»

**ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО
ЧЕЛОВЕКА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

Первая часть «Записок блокадного человека» в 1984 году была напечатана в журнале «Нева», а потом в моих книгах «Литература в поисках реальности» и «Человек за письменным столом».

Во второй части «Записок блокадного человека» перед автором стояла задача раскрыть механизм повседневного разговора, «житейщины», как говорил Пастернак.

Но это повседневность в экстремальных условиях, со страшным подтекстом ежеминутно грозящей гибели. И люди, праздно болтающие, хвастающие, сплетничающие . . . они же безотказно делают дело войны, которая их призвала.

СБОРЫ

Утренняя домашняя часть дня закончена. Предстоит вступить в область социальных отношений. В период передышки она предъявляет уже к человеку известные требования благопристойности. Из хаоса тела, из хаоса вещей выделяются и обрабатываются некоторые участки. Эн перед выходом наносит на себя последние штрихи социальности. Грязная куртка (когда-то она была пижамой, но к ее функциям давно уже не подходит это слово) заменяется пиджаком. Завязывается галстук. Галстук высится над хаосом, загнанным в глубину. Перед зеркалом Эн приглаживает волосы щеткой. Приятны автоматические жесты, уцелевшие от прежней жизни. Узкий конец галстука он оттягивает вниз, двумя пальцами и движением шеи поправляя узел.

Остается собрать тару. Как все в городе, он ходит с тарой — на случай выдач. Как все в городе, он боится потерять карточки и проверяет их неоднократно. В начале месяца карточки — гляцевитые, плотные, с оборотной стороной, похожей на рубашку свежей карточной колоды, успокоительные своей непечатостью. К концу месяца карточки теряют свой гербовый хруст и блеск. Захватанная бумага становится тусклой и тонкой. Теперь это куцый, замысловато и криво обстриженный кусочек цветной бумаги; совсем не похожий на нормальный документ и потому обнаруживающий свою истинную сущность. Ясно теперь, что это страшная виза на жизнь и смерть человека.

Бумажник с карточками, документами, деньгами укладывается в один кармашек портфеля, в другой — металлическая коробочка с табаком, мундштуком и курительной бумагой. Сумка с банками разного формата и свернутой в клубок авоськой пойдет через плечо. Этот участок, выделенный из хаоса, неплохо у него организован.

УЧРЕЖДЕНИЕ

Выход из дому на работу имеет свою прелесть. Несмотря на маленькие победы и достижения, дом — это все же хаос и изоляция. И с утра, пока усталость не одолела, хочется вырваться в мир.

Мир ближайшим образом представлен Учреждением. К учреждению Эн относится хорошо. Это литературно-драматическая редакция комитета радиовещания. Комитет имеет важное оборонное значение, поэтому даже зимой там сохранялся электрический свет. В ленинградских сумерках, за затемненными окнами можно было повернуть выключатель. И каждый раз это было как удавшийся фокус. Рождалась иллюзия безопасности. Она всецело противоречила действительному положению вещей, потому что учреждение было одной из целей немецких бомбежек. Но иллюзия безопасности рождалась от электрического света, от людей и отвлекающих занятий.

При входе можно, не глядя, предъявить пропуск охраннику. Он терпеливо всем говорит: «Пожалуйста» — очевидно, выполняя инструкцию. Здесь, с пропуска, начинается переживание своей социальной ответственности. Так уж сложилось, что в прежней жизни Эн всегда держался или его держали на отлете. Но вот в трудный час многие из державших его на отлете — разбежались, а он остался и достиг социальной применимости.

Эн смутно знает, что все это только поверхность, что час пройдет и все — и он в том числе — займут свои места. Но мало ли что человек знает... Человек живет на разных уровнях — переживает высшие ценности, но может одновременно вкушать и низшие радости.

Уж Эн-то понимал, чего стоят его бюрократические успехи, но в символике служебных жестов он проигрывал свою социальную применимость. Конечно, он не на фронте, но он не виноват — его забраковала комиссия. И он остался. И он не только голодал, обедал, но он работал.

«...Со всеми сообща и заодно с правопорядком» — какой соблазн. Когда у человека складывается «не как у людей», его неотступно мучит беспокойство. А что если это совсем не свидетельство высшей предназначенности, а,

напротив того, он не дотянул. Для того чтобы быть выше чего-нибудь, надо быть не ниже этого самого, а это требует проверки и доказательств — самому себе. И на душевно здорового человека успокоительно действует, когда он измерен общей мерой.

Успокоительное это чувство Эн испытывает, поднимаясь, с усилием, как и все теперь (тоже общая мерка), по лестнице многоэтажного, сложного, со сложным взаимодействием отделов, учреждения. Навстречу спускаются люди из разных этажей и отделов, с которыми он уже связан служебными функциями (согласовывал и уточнял). Люди даже совсем других, технических, специальностей знают его как звено, нужное в каком-то своем месте.

На площадке его окликает режиссер В.: «Дорогуша, здравствуйте. Как ваше здоровье? Скажите». — В. жмет руку и вглядывается в лицо так сочувственно, как если бы он спутал Эна с кем-то другим, кто только что болел. Но оказывается В. не спутал, потому что он спрашивает:

— Как, все там же питаетесь, у писателей?

— Там же. Как же.

— Ну как? Говорят, там лучше, чем в Северном, где наши все.

— Да не знаю. Некоторые говорят, что в Северном лучше. Ничего в общем. В последнее время стало немного лучше. Как иногда... У нас опять завал с машинистками. Имейте в виду. Так что вашим опять придется читать по рукописи.

— Как нехорошо...

— Знаю, что плохо. Но завал полный. Я как раз все сдаю вовремя. Там для вас материал у Анны Михайловны.

— Я еще зайду. Я, знаете, хочу на это попробовать новую актрису. Это ведь можно женщине — как вы думаете? В общем, я еще зайду.

В отделе секретарша сразу встречает словами:

— Вам опять Б. звонил. Он так и рвется.

— Ну да, я знаю это дело. Но я на эту неделю никак не могу его запланировать. Мне и так не выбраться из остатков.

— Подпишите, пожалуйста, эти две, — говорит секретарша, — я тогда их отправлю.

Служебный стол Эна — территория, занятая в мире социальной применимости. Ничуть не похожий на все письменные столы, какие были в его жизни. На столе казенная пепельница, симметричный с двумя чернильницами приборчик и ассортимент плохих перьев; рукопись со

скрепкой в углу и надписями разными почерками, разных оттенков карандашами и чернилами.

Здесь и начиналась серия служебных жестов: пошутить с товарищами, договориться с секретарем, передать рукопись машинистке, пройти в кабинет к начальнику, позвонить по внутреннему телефону в другой, что-то перепутавший отдел; неторопливо свернув самокрутку, перелистать на столе бумаги в картонной папке.

Это все были действия совсем другого качества, нежели те, которые утром он совершал дома. Когда он выносил нечистоты, колол дрова, тащил по лестнице ведра с водой — это была борьба за жизнь; ее сопровождало сознание, что невыполнение любого из этих действий — невозможно, непосредственно губительно. Здешние действия и дела, он знал, были нужны аппарату войны, но выполнить их мог бы и кто-нибудь другой; они отчуждались от совершавшего действия, уплывали куда-то, чтобы влиться во внеположное ему общее. Поэтому, после давящей пещерности домашних дел, служебные жесты приносили разрядку — в переживании формы, условности, хотя условность переживали под бомбежками и обстрелами голодные или полуголодные люди.

Своего рода отдых эти служебные действия приносили и в качестве автоматической умственной работы, потому что физическая работа оставляет интеллектуальному человеку возможности мысли и тревожит его совесть невыполнением этих возможностей. Но автоматическая умственная работа, простейшим образом упражняя мыслительный механизм, свидетельствует человеку о том, что его душевная жизнь еще не остановилась. Она успокаивает совесть классическим доводом отсутствия времени. Она заполняет пустоту, вместе с тем выключая из заглохшего мозга подлинные умственные процессы.

Эн сидел за рабочим столом среди многих людей, сидевших вокруг, входивших и проходивших. Война, для них самих неожиданно, привела их сюда и скрестила в учреждении, в этой редакции, нуждавшейся в актерах, режиссерах, секретаршах, литераторах, машинистках, начальниках.

В самом общем типовом своем качестве здесь представлен был тот полуфронтовой человек, который при некотором незначительном изменении обстоятельств превращался то в фронтového, то в тылового.

Пока что этот человек, колеблемый ветрами мировых крушений, живет полуфронтовой, странной ленинградской жизнью.

Критик М. обеспокоен своей передачей о южном фронте: «Опять материал залеживается по две недели. Пропадает всякая охота для вас работать...» А материал этот — смерть, смерть, смерть; в том числе смерть хорошо знакомого человека — Евгения Петрова.

Х. К., та пишет о героических буднях военных заводов. Опустив трубку, после флиртового телефонного разговора, она говорит в пространстве редакционной комнаты: «Приятно иметь таких героев. Инженер, очень интересный мужчина. Не говоря уже о том, что у него чудные папиросы.»

О. Б. — певец блокады — в один из напряженнейших дней ленинградского фронта оживленно рассказывает анекдотическую историю с конвертом из суда. Подводная тема курьезного рассказа — как читатели (да еще работники суда) оценили ее произведение. А произведение: это смерть, смерть — трагедия Ленинграда.

Те же страсти, желания, интересы, даже мельчайшие, предстают в пограничных формах, отлитых голодом, обстрелами, тяжелым дыханием фронта.

Война свела людей в этой комнате, и они разыгрывают здесь вечное действие человеческого разговора. Со всеми ходами самолюбия и эгоцентризма. С неизбывной для человека потребностью в объективации своей личности, своих ценностей, возможностей, интересов.

У стола разговаривают автор передачи, писательница К., и редактор. Вбегает старший редактор — до войны человек вполне штатский. Сейчас он в полувоенном виде и в состоянии непрерывной административной истерики. Пользуется случаем, который в мирной жизни едва ли мог ему представиться.

Старший редактор: Я не вижу плана вещи. Где план передачи? Где план всей передачи? 1285 раз я говорил — нужен план. Тысячу упреков я слышу, что я бюрократ и формалист. Нельзя блуждать в лесу. Где, кто, что — ничего не понятно. План пе-ре-да-чи. Вам понятно? Ах, вам понятно! — вот вам автор — берите, делайте, кладите мне на стол готовую передачу.

Редактор: Если вы настаиваете...

Ст. редактор: Не только настаиваю, но ставлю на вид — впредь никаких передач без плана. Хватит.

Автор: Там тоже было много интересного о нем рассказано, чего нельзя включить, к сожалению. Самые пикантные детали.

Ст. редактор: Детали — не столько пикантные, сколько трагические.

Автор: Но представьте себе, что он говорил, что у него было лучше, чем тут в Ленинграде.

Ст. редактор: У вас та композиция не вышла. Где другая?

Редактор: По-моему, именно та композиция, которая была. У нас есть ведущий.

Ст. редактор: Вы довольны, так не будем терять времени. Дело обстоит ясно. Вы все записали . . . Вы автору этого не дали. Вы абсолютно беззаботны. Вы говорите слова, которые ни мне, ни К. ничего не говорят. Ведущий — кто ведущий, где ведущий?

Редактор: Позвольте, вы кончили говорить?..

Ст. редактор: Нет, не кончил. Абсолютное доказательство вашей безответственности—это то, что здесь получилось. Надо было это сделать вместе со мной, с К., надо было это сделать одному — как угодно. Но чтобы была композиция. Ведущий — это ерунда, это может быть, может не быть. Какова тема этой встречи? Что вы серьезно думаете, что можно объявить здорово живешь — мы сегодня решили говорить о воспитании характера. Когда я говорю, что нету плана, я знаю, что я говорю. Это не план, это перечисление того, что передается. А план — это замысел.

Редактор: Вам не ясна передача?

Ст. редактор: Нет.

Редактор: Не знаю, мне ясно . . .

Ст. редактор: Я вам сказал, если вам ясно, то сделайте ее. Мне — неясно. Мне непонятно, как тема этой передачи развивается. Мне нужно понять, увидеть, как эта тема будет рассказана, как она растет, как она развивается. Во-вторых,— какова форма. Вам была предложена и с вами была согласована четкая и ясная форма. Этой формы нет. Какая была композиция — ответьте на мой вопрос.

— Все, что мы записали с вами . . .

— У вас все записано с моих слов? Композиция? Посмотрим, что у вас записано . . .

Была или не была композиция роли ведущего? Была или не была композиция разговора у костра, после которого пробираются раненые . . . Была или не была? Покажите, что у вас записано.

Автор: Почему в одном случае сам Орлов, в другом — другой ведущий? Мы сейчас в положении, когда надо спасти положение вещей аварийно. Мне кажется, композиция — это все-таки наиболее легкая вещь, если годится ее материал. Так что мне бы как раз хотелось знать — насколько здесь ясен образ и какие здесь будут замечания. Ясен ли он или нужно еще кое-что дополнить. А компози-

ция — тоже важно, но композицию можно осилить. А как насчет стихов?

— Хорошо, вы кончили? Вы кончайте, потому что тогда я буду говорить. Это чтецы, все это чтецы. Так мы с вами условились. Это будет показано Гольдину. Я уверен, что он ее одобрит. Здесь идет от старого производственника. Здесь композиция, цель — есть, тема здесь есть. И мы об этом самом деле говорили. В чем заключается дело — в том, что мы показываем, как изменился характер молодежи. Мы показываем, как они сами стали воспитателями. Как они стали настоящими людьми. Показываем самого молодого, мальчишку, который доказывает, что комсомольцы, молодежь сама может стать воспитателями. Мальчишка воспитывает старуху — разительный пример. Это дается на разных людях, на разных примерах, на разных районах города . . .

В другом углу рабочей комнаты между двумя штатными редакторами тянется разговор — вялая смесь всех начал — женского, служебного, блокадного.

Одна из собеседниц — П. В., ламентирующая красавица. Всегда была такой, в лучшие времена: скучающей, чем-то заранее обиженной.

Вторая собеседница Н. Р. — энергичная женщина с надрывом. Биография пестрая. Когда-то работала и на заводе. Все умеет. Этим гордится, но гордится и надрывом.

П. В. ведет фиктивный служебный разговор, то есть с фиктивной коммуникацией. Истинное его назначение — заполнить время, отвлечься от тоски. Есть здесь и подводная тема: хотя ее и считают мало пригодной к работе, но она все же занимается работой и имеет суждение о материале. Свое дело все-таки понимаю, но, в сущности — наплевать — такова автоконцепция.

— Нина, как вы думаете, какой повтор сделать. Н. А. говорит, что нужно повтор. Есть «Васька с Ужовки», но «Васька» маленький.

— На какой день повтор?

— На вторник. Или, может быть, взять эту маму.

— Об чем там разговор?

— Там разговор о том, что командир один, у него была мама. Если пустить ее с этой пластинкой. Только стоит ли с пластинкой, она пошловатая. Ларина рассказ лучше. Только там отступают они. И тогда-то я правила. Скользко это . . . До чего водку хочется пить, Нина, если бы вы

знали. Вчера я пришла к Ольге, они до меня вылакали целый литр. Так было обидно. Я пришла как раз после.

— А ваша где?

— С мамой выпили давно. Так, без особого смысла. С чаем. У меня было плохое настроение. Тогда как раз были мои трагические дни.

— У меня стоит целая бутылка моя, и мне пить не хочется.

— Потому что вы ее собираетесь продавать, потому вам и не хочется. Жизнь очень противная, однообразная. Особенно, когда вам говорят, что нужно ждать со дня на день...

— Об этом столько говорят...

С водкой в разговор входит действительно интересная тема — собственного душевного состояния. Собеседница дважды перебивает рассказ об этом практическим блокадным вопросом «а ваша где?» (проблема распределения еды), попыткой рассказать о своем отношении к водке. Но П. В. настойчиво все возвращает в высший план автопсихологических признаний.

Ее зовут к телефону.

— Здравствуйте, Вера. Как живете?

— Ничего, настроение у меня эти дни ужасное. Просто исключительно плохое.

Спасибо, Верочка, спасибо, но в таком настроении лучше уж никуда не ходить.

Нет, что же я буду на вас наводить...

Спасибо, как-нибудь...

Возобновляется разговор с Н. Р.

— Эта женщина от Колесникова, так что не ждите ничего хорошего.

— Что такое Колесников?

— Колесников — это заместитель, который ведает всякими трудами и тому подобное.

— Я могу вам даже сказать, в чем дело. Это бумажка на заготовку дров.

— Где же вы будете заготавливать?

— Мы уже работали на Охте.

— Ну и как?

— Очень тяжело. Очень тяжелая работа.

— Зато получите два кубометра.

— Ну, в это я никак не верю. Это ведь для учреждения. Потом и нам скажут, что это для учреждения.

— Но вы должны скандалить. Это не шутки — два кубометра. Есть постановление.

— Одно дело, что говорится официально, а другое, что на самом деле. Официально нас должны были переселять с пятого этажа. И никто нас не собирается переселять.

— Я, признаться, в этом переселении не вижу большого блага.

— Я вижу то, что мы с мамой умрем на пятом этаже.

— А в третьем?

— В третьем квартиры должны уплотняться, и будут люди, которые будут топить.

— Но этих людей никто отапливать не будет. Они точно так же, как вы, должны добывать дрова.

— Этого я не знаю. Я знаю, что мы умрем. Вдвоем — на четыре комнаты. В прошлом году я жила на кухне, а теперь я не смогу жить на кухне. Там все выбито.

Большая редакционная комната все больше наполняется людьми и перебоями общего петляющего разговора.

— Знаете, не тогда даже, когда было 125 грамм, а теперь, когда гораздо больше возможностей, — все время об этом думаешь. Я ловлю себя на этом. Стараюсь думать о чем-нибудь более возвышенном. Но это не получается.

— Я была на рынке. Я ничего не купила, я только смотрела.

— Смотреть приятно. Зелень такая красивая, свежая в этом году.

— Чтобы купить по-настоящему, нужно 50 рублей в день.

— Да, видно очень урожайный год. Черника на рынке так ведрами и стоит.

— Ох, голова смертельно болит.

— А вы прилягте и не курите.

— А все равно. Вообще я совершенно развинтилась, абсолютно расхворалась.

— Где Катя, вы ее вчера не видели?

По телефону:

— Иван Иванович! Когда же вы вернулись сюда? Надо увидеться

Ну еще бы...

Надо столько порассказать...

Сегодня... Сегодня я, кажется, недостижима. Сейчас сообразим как это сделать...

Часов в восемь...

Только не опаздывайте...

Ладненько.

По телефону:

Нет сейчас ни того, ни другого. Причем Т. где-то в редакции.

А кто его просит?

Если что-нибудь очень спешное, то он тут в коридоре стоит. Я могу его позвать.

Одну минуточку.

Девушка из грамзаписи:

— В. В. купила две пары чулок. Причем за кило хлеба и 300 рублей деньгами.

— Я совершенно не понимаю, как это можно...

— Так это какие-нибудь сверхчулки?

П. В.: Самые обыкновенные, семирублевые, как у меня.

— Безумие. Но с чулками действительно трагедия, товарищи.

В репликах на это сообщение — градация маскировки темы. На низшем, обывательском уровне реплика была бы прямым, выражающим зависть сопоставлением: «Ну этим (актерам) все можно, а я-то...» Высшая интеллигенция, здесь представленная, — поспешно дает понять о своей отрешенности от подобных вожделений.

З. по своей общественной функции светлая личность; она культивирует некоторые архаически интеллигентские черты, в том числе наивную буквальность словопотребления и дидактизм. Отсюда мгновенно возникающие: «Я совершенно не понимаю...» О., напротив того, высшая интеллигенция современного образца, отмежевывается с помощью иронического словопотребления «сверхчулки». Сознание П. В. представляет собой причудливую смесь обывательских представлений, одичавших традиций староинтеллигентской семьи и бессвязных воздействий современной элиты. Она то lamentирует с запрещенной серьезностью и откровенностью, то вдруг вспоминает, что полагается шутить и маскировать. Шутки, кстати, дают возможность невозбранно демонстрировать свое душевное состояние (запрещено в изоциренном обществе), потому что шутка по своей формальной, эстетической природе всегда претендует на общезначимость.

Реплика П. В. — семирублевые, как у меня, — расшифровывается: как посредственные, обыкновенные, они были доступны мне; у нее они стали необыкновенными и совершенно мне недоступными. Скрытая lamentация.

Входит Яша Бабушкин с Фани. Бабушкин теперь начальник отдела (вскоре за ошибку его снимут и пошлют в газету на Ленинградский фронт. Там через несколько дней, при переходе из одного корреспондентского пункта в другой, он погибнет от случайного снаряда). Бабушкин начальник с обаянием. У него незаметное лицо, которое всегда неожиданно преобразуется улыбкой, очень доброй.

— В кругах произвело. Вчера мне сказали, что исполнение 7-й симфонии в Ленинграде — это событие большого значения.

— Ты с ними согласился?

— Я согласился.

Чья-то реплика: Ф. Н., у вас помада размазана. Кто вас целовал?

Бабушкин: Я вот работаю, а завтра предстоит тебе, дорогая, начать.

Ходза из кабинета: Долго тебя ждать?

Баб.: Я сказал — пока оттуда не уйдет К., я не приду. Мне надоело, чтобы меня прерывали. Я тут с девушками . . .

— Пойдем в репетиционную . . .

Для людей, предельно зажатых войной и блокадой, шутка — способ освобождения (быстропреходящего) от власти голода, страха, от статуса подчиненности, даже от статуса начальствования. В отличие от упивающегося старшего редактора, Бабушкин — стыдливый начальник — ищет эту свободу в несерьезном тоне, даже в аббревиатуре «в кругах произвело», разваливающей штамп.

В том же роде и чья-то шутка насчет губной помады. Только это низшая ступень, типа (открытого Ильфом и Петровым) — «у вас вся спина белая».

Появляется актриса Липецкая — образец бурного самоутверждения. Самоутверждения согласно модели женщины, побеждающей все блокадные трудности, женственной, мужественной, деловой, организованной, умеющей жить и стойкой в опасности.

Липецкая по телефону:

— Да, насчет концерта. Зря я съездила.

Вот что насчет концерта. Нельзя так составлять планы. Как ее фамилия?

Фу ты! Второй раз не спросили. Так же нельзя работать. Второй раз . . . Я туда ездила совершенно зря. Я не знала, кого спросить.

Как вы с ней условились?

Ну да мало ли что она просила. Она так приняла заявку, что я зря ездила. Я без обеда осталась из-за этого.

С которого часа вы будете в Обществе?

Да нет, вы, вы виноваты.

Хорошо, я завтра буду звонить именно вам.

Да.

Как же можно не знать самого главного — в котором часу и как зовут.

Да, нельзя так работать. Ну ладно, я вам завтра буду звонить.

Коммуникация, которая здесь содержится, могла бы уложиться в одну-две фразы. Остальное — разрядка раздражения и подразумеваемая тема собственной деловитости. Формула превосходства над собеседником: «нельзя так делать...», «как можно не знать...» И тут же формула ценности ее делового времени — «зря съездила»... И раздражение и самоутверждение выражены с самой обывательской прямоотой и серьезностью. Это деловой разговор, начисто отделенный от речевой стихии актерского трепя (характернейшая разновидность всеобщего трепя), к которому она прибегает в подходящие, по ее мнению, моменты. Всему свое время.

Бабушкин, выходя из кабинета:

— К. требует, чтобы его провели в Союз писателей. Он не успокоится...

— Яша, а вы?

— Что я? Я не собираюсь.

— Напрасно. Я считаю, что там именно не хватает философского мышления. Там не хватает мыслителей.

Бабушкин, беря телефонную трубку: Дайте мне восьмой. Валентину Николаевну.

Да, я, Сонечка, здравствуйте.

А кто это пришел?

Да, там у них питание.

Я вам сейчас объясню почему. У них нет безвырезных, так что у них остаются фонды. Пускай зайдут ко мне, я им объясню. Да, Валентина Николаевна, мне нужно несколько справок. Какие штаты литературного отдела?

Я имею в виду тех, кто сидят не на своих местах...

На солиста — одна ставка? А на вторую — старшего солиста?

Появляется М. Он был здесь одним из начальников, но его сняли. Теперь он работает корреспондентом. Как корреспондент связан с учреждением. Он уязвлен. Разговор главным образом для заполнения пустот. Околоделовые темы, возникающие по смежности.

— А Дымшиц, говорят, опять уехал.

— Вот я не мог понять. Там, говорят, сократили эту группу Тихонова на два человека. Но кого сократили, я не могу понять.

— Очевидно, Д. и сократили.

З. (светлая личность): вот Дудин написал сегодня стихи в «Ленинградской правде», все-таки лучше других. Вы читали? (Дудиным З. заинтересована — поощряемый ею молодой поэт.)

Б. Г. (с деловой интонацией): Тевелев хвалил.

М.: Был Тевелев?

— Я его видела.

— Что ж он не оставил своих произведений?

— Мери Р. зато оставила.

— Х. совершенно не знает, что с ней делать.

— Я его понимаю. Он все-таки по-английски читать не может.

З.: Юра, я вам уже говорила — не говорите мне о Мери Р. У меня никаких дел с Мери Р.

М.: С ней совершенно неправильно поступают. Она видный американский деятель, лично знакомый со всеми писателями Америки. Почему она не может написать им письмо . . .

— Конечно, она может написать. Но что касается видного деятеля, то боюсь, что вы спутали ее с Джоном Ридом.

— Зачем. Она там знакома со всеми писателями. Если она написала письмо вообще со всякими чувствами — это бы звучало.

А от нее не того хотят. Что она может написать о текущих вещах? Голодный человек, год лежала в дистрофическом состоянии. Что она знает? А все говорят о ней — она ничего не умеет.

Среди цепляющихся, часто автоматически, друг за друга реплик реплика о Мери Р. приводит в движение личные темы. У З. тут свои счеты. В качестве светлой личности она спасала, опекала, но, как видно, не встретила должной душевной высоты, понимания, благодарности и проч. Ей хочется обсудить Мери Р. с высших моральных позиций. Но мгновенно учитывает интеллигентский запрет на склочные разговоры, — с надеждой, что собеседником он будет нарушен.

Но М. в теме Мери Р. интересуется только то, к чему он имеет отношение. Неправильное ее использование, потому что он уверен, что только он умел использовать и направлять людей. Но вот его сняли . . .

Второе — ее болезнь и плохое продовольственное положение, потому что он хлопотал для нее о карточках I категории, устраивал в стационар и вообще он умел — действительно умел — заботиться о людях, с которыми работал. В эту колею он и отводит разговор.

— Во всех редакциях я слышал: не знаем, что с ней делать.

— Она в последнее время стала лучше выглядеть.

— Какое лучше! Со второй категорией! Она больной человек. Ее тянет писать. Ну она пишет рассказы. И плохо. А надо уметь ее использовать.

П. В.: Юра, который час?

— Шесть без трех минут.

— Нина, составьте компанию ужинать.

— Ну, как ваш рацион, товарищи?

— Ужасный рацион. Одна сплошная соя.

М.: Эта соя у меня на голове сидит.

— Почему у тебя на голове?

— Ее дробят и пропускают через адскую машину в комнате, которая над моей. С пяти часов утра... Каждый день... Я уже думаю — ну они наедятся...

Н. Р.: У нас она больше на голове сидит, эта самая соя.

М.: Вы ее хоть с какими-то приправами едите...

— Без всяких приправ. Нальют воды...

— Нина, идем, дорогая. Я кажется, сожрала весь шоколад.

— Покажите. Это как — восемьдесят за это? В нашем магазине давали шоколадные — правда, конфеты — в бумажках. Я так жалела.

— Когда мама брала в магазине, было без всякой бумаги. Хорошие, толстенные такие.

— Как она может лучше выглядеть, когда без меня ее оставили при II категории.

Соя на голове — это утверждение свободного отношения к тяготам жизни. В речи М. не только запрещены ламентации, но запрещен и серьезный разговор о еде — как унижающий, расслабляющий. Для его собеседниц серьезный разговор вполне возможен, но в то же время они поддаются инерции интеллигентского трепка. Иногда в самой наивной форме, вроде «сожрала весь шоколад».

Н. Р.: Бумага тут ни при чем. Плитка стандартная — 100 грамм. Я пошла. Мне надо хлеб брать. А вы подойдите ко мне.

Н. Р. и П. В. уходят. Возвращаются через некоторое время.

Липецкая: Я считаю, что могла бы работать иллюзионистом или как там. Я переодеваюсь в отделе. Причем я все переодеваю.

О., обращаясь к Н. Р.: Сою съели?

— И не спрашивайте. Не говорю с тоскою нет, но с благодарностию были.

Е.: Товарищи, наконец я вспомнила, чья это строчка «Ни слова, о друг мой, ни звука . . .» То есть даже не вспомнила, а установила.

П. В. (Липецкой): Какой это вы туалет надели на себя?

— Нет, я просто уже не могла. Захотелось переодеться.

— Я Инбер встретила в трамвае. И она вам передавала привет.

Липецкая: Инбер? Были слухи, что она уехала. Мне категорически говорили, что она эвакуировалась.

— Нет, она здесь и ничего не говорила об эвакуации.

(Н.Р. стоя ест шоколад.)

Липецкая: Нина, что вы делаете? Вот П. В. упрекает.

— У П. В. — мама. Вы не можете мне занять до завтра? Тогда я съем все остальное. Половину я собираюсь завтра послать мужу.

— Вы с ума сошли — посылать. Там все есть.

— Ну, это какая-то странная часть, в которой, например, нет курева. Он где-то далеко в болоте. Человек пишет — к сожалению, не дают ни грибов, ни зелени. И аппетит мой чрезмерен и неуместен.

— Это уж прямое сообщение.

— Прямое сообщение о том, что человек хочет есть.

— Не знаю. Вообще я знаю, что там все есть.

— Смотрите, вы меня уговорите, я съем, пожалуй, шоколад.

— Нет, дорогая, я вас не уговариваю. Но я очень в курсе того, как здесь вокруг кормят.

— Так «не говори с тоскою нет, но с благодарностию были» . . .

Секретарша: Я встретила В. М., и спросила его — что, можно идти домой? Он сказал: «Напрасно вы собрались».

Хроника не сдана — я все перечеркнул». Я стою здесь в обалдении.

Она человек практичный и толковый.

В каждой н о р м а л ь н о й , неблокадной теме — стихи, туалеты — потенция освобождения, возвращения к жизни. Захотелось переодеться — это торжество, победа над ситуацией.

Липецкая учит жить, потому что сама умеет жить. Н. Р. пользуется случаем рассказать о себе — как ей хочется есть и как она поддерживает мужа, как живет ее муж на фронте и как он здорово написал об этом.

Реплика эмоциональная, отражающая внутреннюю борьбу. Есть у нее и практическая цель — получить санкцию со стороны (на съеденный шоколад).

У Липецкой в этом разговоре своя подводная тема: она прекрасно знает, где как кормят, потому что в этих местах ее кормят и ценят.

— И ничего не сказал?

П. В. (Липецкой): Чудно! Что это?

Липецкая: Аметист.

З.: Я люблю аметисты.

П. В.: И главное не сиреневый, а такой...

З.: Я люблю аметисты.

Входит писатель Розен в военной форме: Здравствуйте. Саша, можно вас на минутку. Вы были правы. Это слово не было перенесено.

— Я не мог быть не прав. Нашли передачу?

— Нашла. Очень странно...

— Да, вообще при министерских сменах найти рассказ очень сложно. Поправка та, что Ив. Мих. говорил, — чтоб не герой открывал эту самую дорогу. (Липецкой) Какое роскошное платье.

— На дворе тепло, Ал. Ив., вот хорошо, что вам 14-го числа надо быть на месте. Удельная...

— Вместе поедем? Удельная. Проспект Энгельса. Госпиталь...

— Можно вместе. Я там уже была. Там очень приятно. Вместе поедем. Я уже знаю.

— То же самое пойдет?

— То же самое.

— А что, переносится на 16-е?

— Переносится.

— Вы не знаете из-за чего?

— Зам просил. Он хочет ознакомиться. Сговорились с горлитом.

— У вас сейчас читка?

Две секретарши (выполняя задание по разгрузке микрофонной библиотеки). Одна — профессиональная секретарша. Другая — в прошлом эрмитажный работник. Она устанавливает свое превосходство над выполняемыми обязанностями ироническим словоупотреблением, цитатами и проч.

— Тут есть просто очень *симпатичные* папки.

— Только они очень распухшие.

— Вот в библиотеке сжигали вещи, очень нужные. А это все осталось.

— Смотрите, вот пустые папки и все с завязками.

— Все очень пыльное. Наши с вами кофточки...

— Все равно — белое это на один день.

— Да, я сегодня уже с грустью смотрела *результаты* вчерашнего дня.

— Прямо грузчики настоящие.

— Я проверенный товарищ в этой области. Весь Эрмитаж перетащила на своих плечах. Мы же всю прошлую осень тащили все вещи, всю мебель, вазы...

— Передача на эстонском языке. Почему это — непонятно.

— И всюду надписи вокруг

На непонятном языке.

— А знаете, у нас все не поместится. Какое богатство скрепок.

— (С папками в руках) Увре ля порт. Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь откликнулся на этот призыв.

Писатель (по телефону): Либо просто выкинуть это самое, либо переставить в конец.

Давайте выкинем.

А насчет этого «свежа вспаханная земля» — черт его знает.

Но вас же опять не застанешь на месте. Главное, у меня телефона-то под рукой нет.

Может быть, тут такой смысл сделать: А может быть, мы с тобой ей споем.

— Да, я об этом уже сама вчера подумала.

— Да, это просто группа такая.

— Да, это просто подразделение.

— Вот я и говорю — какое-то другое подразделение просто дать.

— Нет, тут нужно наименование рода.

— Конечно, вот идут — так нужно к т о .

Профессиональный писательский разговор под обстрелом. Такова здесь модель.

— Алло!

Сейчас.

В. М.!

— Да.

Я.

Да.

Ну что такое?

Почему?

Ну!

На какое совещание? Что? Почему?

Кто пошел к себе?

Он у себя сейчас?

Как ему звонить?

Ну, ладно, ладно. Будем продолжать эту веселую игру.

(Вешает трубку.) Ладно. Опять отменили . . .

Секретарша: Нет, нет, уже не воск, уже грамзапись.

П. В. (актеру, предлагающему ей хлеб и котлету): Нет, серьезно, Николай Павлович, я не хочу. Честное слово, не хочу.

— Ладно. Режьте себе.

— Не нужно.

Он придвигает котлету.

— Я не люблю прежде всего кушать в одиночестве. Пожалуйста, начинайте. Это для демонстрации, очевидно. Ну, ладно. Боже, все просыпала! Дайте нож сюда. Это же редакционный стол. Режьте себе.

— Я не хочу сейчас.

— Нет, нет. Обязательно сейчас.

Секретарша Ольга Николаевна: А «Звезды» не попадались? Нет. Вы тогда заберите и «Звезды» тоже. А в понедельник я у вас возьму.

П. В. (доедая котлету): Какого она происхождения?

— Нет, я не спрашиваю, где вы ее взяли . . .

— А, она баранья, кажется.

Разные голоса:

— Вот бы еще салат . . .

— С картошечкой молодой . . .

— В понедельник я дам конферанс к ней.

- А музыкальные номера?
- Музыкальные номера сделаны.
- Конферанс — что еще пишется?
- Пишется. Он где-то застрял на машинке. Надо спросить у Ольги Николаевны.
- За вами там еще есть. Ну, очередной Симонов.
- Это самое простое.
- Проще простого. А «По страницам...»?
- Тогда снимется. В субботу должны дать хотя бы мне. Вам заменят. В «Боевую доблесть» нужен тонфильм.
- П. В. только что котлету съела.
- Отбивную? От кого отбили?
- Нет, не отбивную. Но ничего котлетку.
- Секретарша: В понедельник идет «Доблесть».
- Оба — она.
- Оба она делает.
- Константин Константиныч, вы не испытываете потребности со мной поговорить?
- Что ж говорить? Вот если б вы мне материал вовремя сдавали.
- И сдаю.
- Где же сдаете...
- Простите, факты упрямая вещь. «Гвардейцы» — сданы? Сданы. «Последний из Удэге» сдано? — Сдано. «Отец» сдано? — Сдано. «По страницам газет» не сдано. Новые стихи не сданы. В общем не так плохо.
- Да, не так плохо. Но и не хорошо.
- Но это отпечатано.
- Пока дадут отбой, он сразу начнет...
- Обязательно. Он и выжидает отбоя.
- Алло. Только что она из Союза звонила, что в силу известных причин не может прибыть.
- Да, ей никак не прорваться.
- Актер, угощавший котлетой, Миронову: Вы мне могли бы полчаса уделить? Помочь. Я в первый раз читаю Пушкина. Я не читал Пушкина.
- Пойдемте. Там свободно?
- П. В.: Что он всерьез волнуется?
- Конечно, всерьез.
- Что он читает?
- «Медного всадника». Вступление.
- А, можно волноваться...
- Нет, я просто не думала, что такой актер...
- Борин: Вообще я могу пойти в грамзапись. Потому что, в сущности, это функция режиссера, а не редактора.

— Разделим труд пополам. Слышите, как мы на вас работаем.

П. В.: Арсений, ведь я уже говорила, это ваша передача.

— Нет, ваша.

— Что за передача?

— «Балтийцы в боях» — литературно-вокально-музыкальная. Должен сказать, что я вздохнул с большим облегчением, выходя из студии.

— Исходя из того, что все хорошо, что кончается?

— Вот именно. Имейте в виду, пока что имеется в плане 20 передач. Но это норма повешенного, а я мечтаю, что мне дадут норму полузадушенного.

— 10 передач.

— Какие же передачи?

— Например: «Я не хотел бы быть на вашем месте...»

— Это как — из нормы повешенного или полузадушенного?

(Борин долго хохочет.)

— Как же мы договоримся?

— Утречком у нас так жизнь складывается. В 10 репетиция Ходзы, потом опять репетиция Ходзы. В 12 у меня репетиция с Петровым. Потом с Зонне.

— В 12 — я как из пушки.

— Я сейчас сосчитаю. Я с 1-го числа 21 письмо написала.

— Зачем же так много?

— Нужно. 10 писем хотелось написать. А остальные все нужно.

Борин: С копиркой надо. Жива-здоровая. Будьте здоровы. Целую.

— Ну жива-здоровая — этим они не интересуются.

— Чем же они интересуются? Зачем же им писать, если они даже этими элементарными вопросами не интересуются?

(Входит секретарша.)

— Вы как прошли? Пропускают?

— Не очень-то. В Союзе сейчас было весело из окон смотреть.

— Что — в Союзе?..

— Нет, по ту сторону попадало.

— В воду?

— В воду и не в воду. Я вот сегодня на Кировском мосту была, когда там случилось...

— Что такое?

— Милиционера убило. И вообще каша. Я не видела. Я сразу ушла. А Тербилова и Валя они в это время в трамвае ехали с другой стороны. Они все видели.

Борин (к девушке из грамзаписи): Нам для тематической передачи нужен древний кавалерийский марш. Понимаете, чтобы так от него и веяло древностью. Трам-там-та-та-там...

Секретарша (Покровскому): Нет, это у вас не пойдет.

— Почему?

— У вас же все передачи похоронные. Как ваша передача, так похороны.

— Я мечтаю о веселой передаче.

— До веселия ли...

— Какой может быть смех во время войны...

Борин: В крайнем случае я согласен даже и на это. Как она называется?

— Кавалерийская рысь. Обработка Чернецкого.

— Чернецкий — это явно духовой.

— Опять похоронный.

— Отчего — на рысях. Марш гвардии гусарского полка.

— Дурацкий марш. Хотя они императорские, но они дохлые какие-то.

— Это что?

— Марш с фанфарами.

— Вот старина.

— Это приемлемо.

— Ничего. Я тоже считаю. Марш с фанфарами называется.

— Самойлов совсем не подходит.

— Не подходит бас. Я, например, думал — П. Но не подходит бас.

— Не подходит. А тут нужен исполнитель, который дифференцировал бы.

— Единственный человек, который подходит...

— Я знаю — С. Я думал. Надо решить — может ли женщина читать.

— Нет, тут хотелось бы отношение автора. У автора более мужское отношение.

— Значит, женщина исключается.

(Все это деловой разговор с оттенком удовлетворения, которое испытывают люди от сознания своей профессиональной искусности.)

Начальник отдела: Вы знаете. Я вот грешный человек, но я предпочел бы, несмотря на все, — бас. Курзнер. Сколько бы баритон ни пел, бабушки из этого получиться не может.

Новый (вместо снятого) начальник отдела — хочет испытывать превосходство не только по положению, но и интеллектуальное. Среди театрально-цехового педантизма он сохраняет свободу и трезвость суждений, сочетающуюся со словоупотреблением слегка ироническим («грешный человек», баритон и бабушка).

Миронов: Он для этого немного бесчувственный. Прочтет, может быть. Будет прилично. Но уж не часто актеру такой материал попадается. Мне кажется все-таки, что такую лирику Самойлов мог бы донести.

(Профессиональный разговор продолжается.)

— Лирику он, может быть, и донесет. Черт! А вот этот быт дворянский...

(Немотивированное восклицание «черт!» должно несколько расшатать профессиональную педантичность разговора.)

— Он, как бы сказать, не достаточно интеллигентен.

— А по мирному времени — кого бы вы мыслили?..

— Тут культура нужна большая. Из городского театра — кто бы мог?

Таня (по телефону): Да, жажду ваш голос... Значит, записываем вас. Ваше — вчерашнее. Второе. Я говорю о втором. Записываю. А состав какой был — все?

Недостаточно интеллигентен — это наивное понимание слова интеллигентен и наивное утверждение собственной интеллигентности. Приятно высказывать такие суждения; особенно когда от них отчасти зависит, получит человек роль или не получит.

Разговор Тани по телефону имеет практическое назначение. А «жажду ваш голос...» — это шуточные штампы, которые на определенном уровне, в определенной среде знаменуют все те же поиски свободного отношения к жизни.

Входит Борин с письмом от слушательницы. Ей величайшую отраду доставило его выступление. Она потеряла любимого мужа, и передача ее утешила. Просит прислать ей текст. Борин читает письмо.

Ярцев (шутит): Сам написал...

- Зависть! Черная зависть!
- Что ж, вы пошлете ей текст?
- Надо редактору отдать.

В данный момент у Борина одна потребность — как можно больше людей как можно скорее должны узнать содержание письма. Трагическая сущность письма его не занимает; вернее, учитывается им как усиление его заслуг. Не реагирует он и на практическую просьбу — прислать текст (вместо этого — «надо отдать редактору»).

Ярцев в виде шутки высказывает тайное желание: хорошо бы, если б это письмо было фальшивкой. Борин в ответ формулирует оценку его поведения. Иронически напыщенное «черная зависть» прикрывает формулировку шуткой.

Борин (З., которая входит): Зинуша, небезынтересно вам будет почитать, насколько доходят ваши произведения в моей интерпретации.

После того как письмо уже прочитано вслух, неловко опять читать его вошедшей З. Мотивировкой служит фраза, пародирующая официальный слог; комизм, пародийность не имеют здесь никакого смысла. Но это один из испытаннейших приемов — рассказать нечто ласкающее самолюбие под видом факта общезанимательного по содержанию или форме. Рассказать этот факт как смешной — невозможно. И вот остается голая форма комизма, пародийности, как бы разоблачающая чье-то хвастовство, канал, в который тайно поступает хвастовство собственное.

З. (читает письмо): Ах, я не поняла. Это самое...

— Может быть, подшить?

— По-моему, надо.

— Там еще есть одно.

Практический разговор. Борин не подумал о том, чтобы ответить написавшей, но предусмотрел, что надо подшить документ «к делу».

Зонне (входя): Где же Мичурина?

Борин (поет): Ми-чу-ри-на, Ми-чу-ри-на... (К Зонне) Да, только что прослушивали в отделе с новым начальством. И новое и старое сказали, что надо говорить Артаксёркс...

— А ты хотел говорить Артаксеркс. Я тебе говорил.

З.: Конечно, Артаксёркс.

Борин резвится и поет от удовольствия. Переход к занимающей его в данный момент профессиональной теме.

Зонне показывает свою правоту в бывшем споре З. — свою образованность.

— Ну, высказывайся, а то у нас сейчас будет совещание.

— Я хотел тебе показать письмо.

Под шумок Борин опять возвращается к теме письма.

П. В. (Ярцеву): Ал. Ив.! Что-то я вам хотела сказать . . .

— Разрешите приветствовать.

— Век вас не видела. Нет, ничего интересного.

— Здравствуйте, Зинаида Александровна. Как живете?

— Кашель все.

— Сухой? Мокрый?

— Сухой.

— Сухой? — Банки!

П. В. ищет контакт с Ярцевым, который когда-то за ней ухаживал. Она произносит формулу (что-то я вам хотела сказать . . .) совершенно бессодержательную, но удерживающую внимание собеседника. «Век вас не видела» — также пустая штампованная формула, но за нее, при желании, легко зацепить ассоциации из запаса прежних отношений. У Ярцева этого желания нет. Он обращается к З. со стереотипной формулой встречи. З. кашляет в этот момент, что и служит поводом для заполнения ответной формулы, которая всегда причиняет неудобство своей чересчур уж очевидной бессмысленностью. — Спасибо, понемножку . . . и т. п. Человек всегда испытывает облегчение, когда ему подворачивается что-нибудь, чем можно заполнить эту формулу. Ярцев автоматически продолжает подвернувшуюся медицинскую тему.

— Вы вчера слушали? Я думала — он себе грыжу наживет, так он кричал.

Профессиональное осуждение в комической форме (двойное удовольствие).

— Спички есть?

Наташа: Конечно, есть. Давайте я чиркну. Я ведь очень люблю зажигать спички. У меня страсть. Я Константину Константинычу целый воз спичек принесла.

Кому-то понадобились спички. Но Наташа (начинающая актриса) мгновенно пользуется практическим вопросом для своих игровых целей. Она физически томится, когда не может говорить о себе или занимать собою присутствующих. С необычайной прямолинейностью, театральностью и провинциальной архаичностью приемов она реализует свою автоконцепцию непосредственной, прелест-

ной и балованной девочки. Страсть зажигать спички — совершенно оригинальная, притом детская черта. Вероятно, эта страсть (возможно, что бессознательно) возникла потому, что она дает возможность игры с курящими. Во всяком случае привлечения их внимания. Она в милых отношениях с К. К. (начальником). Об этом приятно сказать вслух.

(Молчание.)

Таня: Ося, до которого у вас пропуск? Скажите.

— До первого июля.

— Июня?

— Июля.

— А у меня до первого июня.

(Молчание.)

Разговор коммуникативный. Но последняя реплика Тани не имеет практического смысла. Это использование возможности хоть что-то сказать о себе.

Наташа (Тане): Вы завязываете и все?

— Вообще не завязываю. Встряхну головой, пойду и все.

— Они у вас сами... Без перманента?

— Сами.

— Люблю такие прически.

— Любите?

— Люблю. Такие, как у вас. Без финтифлюшек.

Наташа заводит разговор о прическе главным образом в силу непреодолимой, физиологической потребности все время говорить, отчасти, м. б., в силу интереса к нарядам и т. п. Таня считает себя выше Наташи, хотя она из грамзаписи, а Наташа — актриса, по красоте, свойственной ей воспитанности и сдержанности. Считает, что успех Наташи создан неблагоприятной игрой в балованного ребенка. Ее ответы подчеркивают благородное пренебрежение к мелочам туалета. Притом небрежность красивой девушки. Но Наташа, не растерявшись, сразу и себя поднимает на ту же высоту: «Люблю такие прически!» Таня же хотела бы по этому вопросу оказаться с Наташей в разных лагерях. Поэтому она холодно и недоверчиво переспрашивает: «Любите?» Наташа своим ответом пробует с полной ясностью утвердиться в том же лагере и на том же уровне. Этой цели должно служить слово «финтифлюшки», несущее печать архаического, наивно провинциального словоупотребления.

Секретарша: Как у нас дымно в комнате. Просто плавает.

— Много курящих. Все курят.

Наташа: Я не курю.

Автоматически возникла реплика. Наташа, на которую в данный момент не обращают внимания, т. к. все заняты, хватается за возможность заявить о себе: «Я не курю!»

З.: Ну только ты.

Григорьев: Я не курю.

Григорьев, который много курит, подает свою реплику в порядке чистейшего трепя от скуки. Он понимает, что это несколько не остроумно, но знает, что нелепость реплики вызовет какой-нибудь дурацкий разговор, который послужит хоть каким-нибудь развлечением.

— Вы, Евгений? Вы больше всех курите.

— Когда это вы видели меня курящим?

— Всегда.

— А вы не думаете, что это иллюзия?

— Нет.

З., невзыскательная по части юмора, наивно подхватывает нелепость, на которую более искушенный слушатель не реагирует. Григорьев удовлетворен результатом (клянуло) и в течение некоторого времени продолжает.

Таня: Устала. На дворе, говорят, жара.

Наташа: Ужасно жарко.

Таня: Пока я пойду, будет уже холодно.

Первая реплика Тани отвечает потребности что-нибудь сказать (чистая речевая скука). Для этого тема погоды — самая классическая. Потому что всегда под рукой. Но вторая реплика имеет уже личный смысл. Таню эксплуатируют на работе, поздно задерживают. (Пока я пойду...)

Григорьев: Александр Ильич, как только вы освободитесь, мы возьмем вас в оборот.

— По-моему, все несчастье в вас. Вы тут всегда так поздно сидите...

Григорьева нынче мучит скука. Он внутренне ищет выхода и вспоминает о предполагавшейся игре в покер. Поэтому его реплика имеет не практически-организационный характер, скорее эмоциональный. Он утешает себя, обещает себе удовольствие и в то же время оправдывает откладывание затеи, на которую ни у кого не хватает энергии. Собеседник раздражен этими откладываниями и потому отвечает с целью сказать неприятное (разрядка аффекта).

— Во-первых, я поздно сижу три раза в неделю.

Григорьев задет тем, что его представляют мелким служащим, прикованным к месту; он вообще недоволен

и уязвлен своим служебным положением. Ответственные и удовлетворенные своим положением, напротив того, охотно говорят о том, что они работают до поздней ночи. Тогда это признак социальной значительности, а не социального ничтожества, как в данном случае.

З.: Я сегодня видела. У вас один человек переехал тремя этажами ниже. И проиграл. Я заглянула сегодня через стеклянную дверь. У него весь потолок сел на пол.

Григорьев: Почему?

— Провалился.

Григорьев: Так он проиграл? Я думал — проигрался.

З. рассказывает занимательную историю. Но история имеет и личный смысл. Она только что отказалась от затеянного ею переезда на другую квартиру. (Все блокадные люди одержимы желанием куда-нибудь переехать.) Она любит считать правильным то, что она делает. Для нее этот случай — своего рода подтверждение. Реплика Григорьева подчеркивает его интересы игрока — оттенок удачества. Тогда как только что из него публично хотели сделать мелкого служащего.

Старший редактор (входит): Кто получает «Правду»? За 19, 20, 21-е — интересуюсь «Правдой».

— Знаете что, В. М., посмотрите в той комнате у меня на столе.

— На?

— Да. Если нет, так она у меня дома...

Старший редактор явно страдает тяжелой формой комплекса неполноценности. Когда у него есть случай поучать, он многословен, подробен и дидактичен. В других случаях он, напротив того, утверждает свое превосходство молниеносной краткостью начальника и делового человека — среди всех — праздно болтающих. Так в данном случае. Несколько вольное «интересуюсь» — выражает, что деловитость не мешает свободному отношению к казенным формам речи. Аббревиатура «на» выражает ту же всепроникающую начальственную энергию.

П. В. (входя, к З.): Вы захватили мой карандаш...

— Нет, я своим пишу...

— Я его вынула из сумочки...

— Уверю вас, у меня мой карандаш...

— Я его в этой комнате вынула из сумочки. Куда ж он девался? Раздвоился он, что ли? Странно. (Уходит в гневе)

Наташа (вбегает): Ой, кого я видела! Кого я видела! Студента Зонне Степанова. Самый талантливый зонненский ученик. Мне надо еще на него посмотреть. Срочно!

П. В. (входя): Зина, и вы были правы, и я была права. Карандаш нашелся, но я действительно вынимала его из сумочки.

— Я же вам сказала, что у меня мой карандаш.

— Да, но мой я действительно вынимала из сумочки. (Уходит.)

Карандаш П. В. включает в ряд преследующих ее враждебных явлений. Разговор о нем — разрядка аффектов. З. демонстрирует твердость и сдержанность. П. В. испытывает неловкость, когда карандаш нашелся; из добросовестности приходит об этом сказать. Чтобы не извиняться, она утверждает, однако, что тоже права. З. полуизвинение не смягчает и не смущает. Она подтверждает свою правоту. Не мирясь с ее торжеством, П. В., уходя, повторяет свой довод (карандаш был вынут из сумочки) — с логической точки зрения сомнительный.

— Как мне попасть на группу Б? Звоню на обе кнопки — и обе А.

(З. смеется.)

Реплика у телефона — словесное отражение впечатлений текущих. З. считает, что это достаточно смешно, чтобы можно было рассмеяться.

Наташа: Он у Зонне учился. Я ж его знаю. Он замечательный актер, очень хороший. Он в «Музыкальной команде» играл, замечательно. (Уходит.)

Ярцев: Чудачка!

— А как вы считаете — у нее способности есть?

— Несть.

Наташа (входит): Нет, они уже спустились.

Ярцев: А вы ему не крикнули?

— Нет, неудобно. Они вдвоем.

— Как ваши занятия?

Наташа разговаривает как на сцене (жесты, интонация, построение фраз). Игровое начало, которое вообще присуще людям, реализующим автоконцепцию, проявляется у нее в откровенной, упрощенно профессиональной форме. Сейчас — по поводу зонневского ученика — она разыгрывает сцену непосредственности (синтаксические призна-

ки — фигуры непосредственности). Солидная же формула «замечательный актер» — это утверждение своей профессиональной компетенции. Наташа наслаждается словесной реализацией — разумеется, когда есть подходящая аудитория. Сейчас такая аудитория — Ярцев, который явно заинтересован. «Чудачка» — это от потребности заговорить о ней и, вместе с тем, своего рода эротический эвфемизм любования. Тр. тоже заинтересован и охотно поддерживает разговор. Но продолжить его не удастся.

— Я хотела вам рассказать.

— Я весь внимание.

— Я пришла сюда. Лешков меня усадил. Садитесь, девчурочка, он мне говорит. Мы читали. Он мне очень много поправлял. Как будто он ко мне очень хорошо относится. Он мне очень много времени уделил.

В последующем разговоре Наташи с Ярцевым оба реализуют определенную концепцию отношений. Он — немолодой человек, утомленный заботами и творческой работой, нежно, с оттенком снисходительной насмешливости опекает прелестную девушку. Она — взбалмошное и непосредственное существо, ищет в нем поддержки и в то же время устиляет розами путь усталого человека. Наряду с игровыми переживаниями, все это имеет и практические цели, которые Наташа особенно не скрывает; Ярцев должен помочь ей устроиться.

Он спрашивает о ее делах не в порядке условной формулы, а как покровитель.

Она «хотела рассказать» — покровительство принято. «Я весь внимание» — шуточно-торжественная фраза в порядке ласкового отношения к ребенку. Возрастная дистанция все время подчеркивается, это эротическая основа всей концепции отношений.

Рассказ Наташи о Лешкове — лобовое самоутверждение, без всяких обходных маневров. Цитируя выражение «девчурочка», она выдает сознательность своего отношения к собственной модели.

— Он когда-то сам прекрасно играл в этой пьесе.

Ярцев напоминает о своей профессиональной опытности.

— Он мне все время жал руки. Невозможно... Ну, я вам потом расскажу... Он сказал — эта роль решит вашу судьбу.

«Невозможно» — слово здесь логически бессмысленное. Оно служит знаком того, что хвастовство Наташи оказалось на стыке театрального с эротическим. Для психики актрисы вообще характерно смешение этих воздействий.

— Когда-то эта роль решила судьбу актрисы Шигориной. Я тогда учеником был. Я присутствовал. Она волновалась! . . . Это нужно для этой роли. Непосредственность. Но потом она не сумела себя оправдать. Он, вероятно, по аналогии с Шигориной, это и вам говорил. Потому что в подходе к этой роли главное — непосредственность. Он по аналогии с Шигориной это вам и сказал. Понимаете, потому что я с ним говорил об этом. Кто там еще занят?

Ярцев опять напоминает о своей профессиональной искусственности. Он может ей много дать. Вся тирада построена серьезно и дидактически. Речь книжная («по аналогии»). В конце доводится до сведения Наташи, что он внушил интерес к ней Лешкову.

— Я думала, что вы мне можете.

Прямой ход в практическом плане.

— Всегда к вашим услугам.

Дидактическая часть кончилась. Опять легкая ирония.

— Нет, вы несерьезно говорите. Вы очень устали. Надо серьезно. Я была у Липецкой. Я в восторге. Да вы не слушаете . . .

З.: Наташа, тебя поневоле будешь слушать. Ты так кричишь . . . Ты же мешаешь . . .

«Вы несерьезно говорите, не слушаете, вы устали» — подчеркивание возрастной структуры их отношений.

З. делает свое замечание отчасти, чтобы прекратить шум, отчасти потому, что игры Наташи ее раздражают.

Наташа (Ярцеву): Солнце мешает. Я не могу на вас смотреть. Лешков мне сказал — почему вы на меня не смотрите? А я говорю — я стесняюсь. Он говорит — вы же в меня влюблены. Это по роли. Я ему сказала: «Нет, Верочка еще не влюблена; у нее это еще все бессознательное». А потом он еще такое мне сказал, что у меня душа перевернулась. При всех. Опять вы не слушаете.

Значит, ей хочется на него смотреть. Дальше опять весь набор: осознанная инфантильность, сексуальность, профессионализм (замечание насчет Верочки должно свидетельствовать о тонком творческом понимании роли).

— Я слушаю. Душа перевернулась при всех.

Ярцев продолжает подавать реплики в основной тональности ласковой иронии.

— Я готова была бы во вспомогательный состав. Крохотная ставка, служащая карточка. Все что угодно. Они, верно, думают, что я хочу хорошего. А мне все равно.

Автоконцепция Наташи обогащается мотивом незаинтересованности в низших жизненных благах.

— Вы срочно готовьте эту роль. Срочно. Я еще поговорю о вас с Лешковым.

Как покровитель дает практические советы.

— Я хотела вам прочитать.

— Вы мне читаете. Я прослушаю.

— Я стесняюсь. (Опять демонстрация инфантильности.)

О. (входя): Как живете?

— Да так. Заботы. Страшно много забот. Устаешь. Заботы подавляют творческую жизнь. И потом у нас такая нагрузка... Возьмите, на прошлой неделе. У меня было четыре передачи, концерт. И работа в театре.

Стереотипная формула общения, на которую обычно дается автоматический и формальный ответ. Но в данном случае Ярцев пользуется случаем развернуть себя. Да еще перед Наташей.

Наташа: Вы сидите. Я вам все перепишу. Вы устали...

Наташа немедленно показывает, что образ усталого творческого человека до нее дошел и что она уже сделала выводы.

Ярцев: Зинаида Александровна, как у вас с огородом? Вы взялись за это?

Заговаривает об огороде отчасти потому, что сейчас это одна из ближайших тем, на которую легко наводит вид сослуживца, отчасти в ожидании услышать что-нибудь практически интересное. К тому же этот вопрос открывает возможность перехода к сообщению о собственных огородных делах.

— Видите. Я не могу копать. У меня большое сердце.

З. по обыкновению взялась за дело, имеющее общественное значение. Ничего пока не сделала. Охотно говорит поэтому о препятствиях.

— А я, знаете, взялся.

Ярцев перешел к разговору о своем огороде.

— У меня будет 20 метров, кажется.

З. говорит о своем.

— 20? А я взял 100.

— И вскопали?

Ей хочется, чтобы он тоже ничего не сделал.

Наташа: Подождите. Простите, что я вас перебиваю. Я вам принесу завтра лопату. И вскопаю. Я очень люблю работать на огороде.

Наташа томилась от того, что так долго была вне разговора и внимания окружающих. Вмешательство в порядке украшения жизни усталого человека. Люблю рабо-

тать на огороде — то же, что люблю зажигать спички. Это внедрение своей личности в данный участок бытия.

З.: Почему ты не взяла участок?

З. делает наставительный вопрос. При случае она склонна воспитывать Наташу.

— Нет, не хочу.

Подразумевается — она не хочет работать на огороде для удовлетворения материальных нужд, а хочет работать, чтобы украсить жизнь Ярцева.

Ярцев: Безобразия! Такое учреждение, и получили самое худшее в городе. Музыканты прямо отказались. Они там в воде копали. Все смеются над нами. Обидно за учреждение. У нас многие отказались.

З., предчувствуя, что она ничего не сделает, с удовольствием перечисляет отказавшихся или сваливающих работу на других.

З.: Л. отказалась, Б. отказалась.

— П. В.?

— Нет. П. В. еще не отказалась.

— Ну, П. В. потому, что у нее мать. Она мать приспособит. Сама-то она ничего не сделает.

Наташа (Ярцеву): Поедем на огород. Я вам помогу. Вы берите.

— А лопата у вас есть?

— Есть. Я вам принесу.

Наташа опять врывается в разговор, продолжая свою тему.

Ярцев заинтересован предложением (а, в самом деле, приятно было бы поехать с девушкой).

— Настоящая лопата? С этой штукой? (Делает движение.)

Шуточное подчеркивание концепции отношений — она ребенок. Детям не свойственно иметь настоящие лопаты.

— С этой штукой. И можно упереться ногой. И копать.

— Поедем.

— Когда? Сейчас?

(З. смеется.)

Уже вечер. Она, разумеется, не думает о том, чтобы ехать сейчас. Это реплика в порядке выражения непосредственной восторженности с ежеминутной готовностью украшать жизнь.

З.: Она уже готова сейчас! (Реплика должна показать, что при всей своей серьезности и моральной взыскательности З. способна снисходительно оценить забавную непосредственность девочки.)

Ярцев: Ох, Наташа, с вами хоть весело. Отдыхаешь.

(Прямое выражение эмоции после всех косвенных.)

З.: Нет, это чудесный был разговор с огородом.

(Уходит.)

Ярцев: Александр Ильич, вы, наверное, знаете... Мне рассказ нужен для выступления. Маленький. Самое большое на семь минут. Но чтобы хороший.

Высказывание коммуникативное.

— Трудно сказать...

Наташа (перебивая): Я вам принесу. Рассказы П. знаете? Замечательные рассказы. Очень хорошие. Там, например, один мальчик. Он оставил завещание. Он погиб. Ему 15 лет. Орденоносец. Он оставил своей матери завещание. О том, какое счастье погибнуть. Я вам завтра достану. Я вам не все сказала про У. Чего она так озлилась? Не знаю, кто ей такие подробности сообщил...

Наташу раздражает обращение к постороннему лицу. Про нее как будто забыли. Она поспешно вводит себя и в этот участок бытия. Она зажигает спички, работает на огороде. Она же может достать рассказ. Содержание излагается всерьез, наивно официальным языком. Для нее это другой план, имеющий свои правила. Резюме: Я вам завтра достану — безапелляционно запрещающее прибегать к третьим лицам. Далее переход к своим делам, сплетнически интимным.

Бывшая эрмитажница — тихо стоящему рядом редактору:

— Никак не могу понять систему этой девушки. Во всяком случае на наших мужиков действует безошибочно. Но понять не могу. Поэтому я вчера анекдот не рассказала. Не то — дитя, не то — наоборот...

Наташа раздражает и вообще, и кроме того раздражает ее как женщину, которая еще привыкла нравиться, своей тенденцией к поглощению всеобщего внимания. Поэтому она разоблачает, но не в прямой форме, которая обличила бы зависть, или пуританство, или неуместную серьезность, а в форме иронического интеллигентского трепана (система, девушки, мужики).

— Может быть и дитя и наоборот. Следует подходить диалектически.

— Конечно, все развивается.

Последующий обмен репликами стимулируется уже не столько осуждением Наташи, сколько словесной игрой, ощущением словесной формы.

Актеры постепенно уходят. В комнате остаются редакторы за своими столами.

Н. Р.: Мне начинает казаться, чего никогда не казалось раньше. — А не зря ли я сижу за этим столом? в этом учреждении?

П. В.: В дни моей молодости я тоже занималась общими вопросами. Мне казалось, что я неизвестно зачем существую. Теперь я не думаю и вам не советую. Не более зря вы сидите, чем многие другие. Успокойтесь.

— Когда я работала на заводе, я об этом не думала. Все было дело.

Секретарша: А кем вы работали?

— Я — токарем.

П. В.: Да, там это точно.

Секретарша: Как же это вы успели перепробовать столько профессий за вашу молодую жизнь?

— Во-первых, моя жизнь не такая уж молодая — мне 38 лет. Кроме того, я много профессий перепробовала за этот год. Я поступила на завод учеником слесаря. Слесарем я, правда, работала очень недолго — всего две недели. Но потом токарем я имела хорошую квалификацию. То есть у меня был разряд.

— А прежде вы занимались нормальными профессиями?

— Прежде я занималась нормальными профессиями. Но с некоторыми прослойками. Я заведовала детскими яслями, например. Потом имела корову на своем попечении. Так что я умею ухаживать за скотом.

З.: С коровой, наверное, легче, чем с авторами.

— Как вам сказать. Отчасти и легче. Там грязь другого порядка. Которую легче отмыть и которая ничего не затрагивает, кроме вашей кожи.

П. В.: Вообще нужны главным образом машинистки. Если бы я была машинисткой, я бы имела в один миг первую категорию, обед с половинным вырезом и т. д. Вот я знаю — нужна была машинистка в штабе.

З. (смеясь): Вот я скоро стану машинисткой и перейду в штаб.

П. В.: Вообще как это ни странно, сбывается все, что говорили. Что из меня никакого редактора не выйдет, что все это зря.

Подходит к телефону:

— Так вы приехали... Просто необходимо срочно увидеться. Фу ты какая мерзость. А я была уверена, что вы приедете. Да нехорошо все. Мой врач уехал; эвакуировался,

кажется. Другого мне не оставил. Не устроил ничего маме. Я от всего этого расстроена.

Мама теперь целый день говорит, что она голодная. Ей надо устраиваться. Но найти что-нибудь с первой категорией не так-то легко. Мне, конечно, придется взяться за все это. Мама от всего разболелась...

Нет, он здесь еще. Ходит в довольно мрачном виде.

Новый — очень милый человек. Но вообще все нехорошо.

Всем плохо — это так-то так. Но мне всю жизнь было плохо. И теперь так же. Так никакой разницы. А я, по-моему, все-таки стою лучшего.

Господи, какая самоуверенность.

Вешает трубку.

(Секретарше): Что? Заполнить карточку специалиста? Специалист-то не вышел.

З.: А интересно — это совещание — что из него получится...

П. В.: Да ничего... Какое совещание?

— Да с Черчиллем.

— Ах, вы про то? А я думала про наше совещание... Странно — чем больше я живу и чем хуже мне приходится — тем больше во мне оптимизма.

П.: С чего бы это?

— Не знаю, так получается.

— Этот год будет очень для вас полезен — битая, колоченная, никем не проглоченная. Так?

— Ну, проглотить, вероятно, проглотят. Но достаточно того, что меньше на это обращаю внимания, чем раньше. Уже для моего характера — то, что я могу как-то пискнуть в ответ, а не сразу пускаюсь в рев — уже очень много. Все-таки, товарищи, нам нужна машинистка. Неужели нельзя найти машинистку...

Н. Р.: Я вас ограблю еще на закуточку.

— Грабьте, дорогая, грабьте. Кстати, он последний. И вообще поступления прекратились.

— Почему поступления прекратились — меня интересует.

— А вот спросите. И все остальные тоже. Полное равнодушие. Вот почему я не интересуюсь всем остальным. Просто появилась привычка. Человек привык, что я существую в таком плохом виде. Это меня не устраивает. Так — раз в неделю — причем не что-нибудь солидное, а так пустячки.

Ну-с, это я укладываю для своей мамы. Смешно, когда говорят мамаша? Правда — смешное слово — мамаша?

Н. Р.: Вот хорошо, если будет об этом детском доме передача и туда пошлют. Я там прежде раз была. Какие интересные ребята. И какие ответы у них. Я вам расскажу. У меня не было ничего интересного. Я так грустила.

П. В.: Нет, я все-таки думаю, что это дело нужное. Другое дело, что приходится скуку передавать. Это бывает очень редко, но когда Т. сказал, что ему очень понравилась моя передача — это было очень приятно. Это редко, конечно, бывает.

— Меня за интересную работу можно бесплатно купить. Я буду дни и ночи работать. И даже не вспомню о плате. Но если мне не интересно, то не интересно. Вот я думаю: интереса в работе нет — жрать нечего, денег мало — так какого черта я тут сижу. Уж если не думать об идеях, то устроиться похлебнее. Вот Л. говорит, что он скептик. Вот он скептицизм куда ведет.

(Входит увлеченный администрированием старший редактор.)

П. В.: В. М., тут звонил Рудный, что он никак не может до вас дозвониться. Но у него все в порядке.

Старший редактор: Давайте сговоримся с вами — пока материала нет в руках, он не считается. Доверчивость отставить. Ни тени доверчивости, ни грамма доверчивости. Доверчивость — это зло и источник отсутствия всякого присутствия. Рудный звонил, передавал — мне не передали. Груздев обещал принести материал — не принес.

— Так в чем же дело. Я могу соединить вас с Рудным.

— Так дело не в том, чтобы соединить, дело в том, чтобы поставить меня в известность. (Уходит.)

П. В.: Эх-хе-хе... Жизнь... Сегодня мне хочется ругаться, знаете, Нина.

Н.: Я только что чуть не ругнулась крепко, но вспомнила, что вы теперь меня называете умником, и воздержалась. Я от мужа получила письмо. Очень грустное. Он много лишнего пишет. Мне было очень трудно сначала, но я взяла себя в руки и написала ему очень спокойное и наставительное письмо.

— Вы стали очень ленивая, Нина. Вы только все говорите — вот, надо бы сделать, а ничего не делаете.

— Так времени нет. Я все-таки очень занята по вечерам этим перетаскиванием. А здесь с вами болтаешь, так не наговоришь. А знаете — я сейчас очень отдыхаю у себя

в квартире по вечерам. Я одна-одинешенька. И я хожу, знаете, чтобы тишину не нарушить, тихонечко.

(Пауза.)

Слушайте, вам моя тубетейка не нравится?

— Нет, Нина, она вам совсем не идет. Я вообще не люблю тубетеек. Мама бывает в восторге, когда я надеваю свою. Но я не люблю.

— У вас хорошая тубетейка?

— Обыкновенная. В общем, я вас в свет не вывожу, пока вы ее не снимете.

Разговаривают две женщины, обе настойчиво жалуясь, — но с разных позиций.

П. В. — позиция слабости, неудачницы, всегдашней обиды; теперь обиды в новой, блокадной, форме. Так что дело не в обстоятельствах, а в собственном ее устройстве, неприспособленном к соприкосновениям с жестокой действительностью (она ведь едва способна «пискнуть в ответ»). Отсюда любопытная формула: «Мне всю жизнь было плохо. И теперь так же. Так никакой разницы». Но тут же — «а я все-таки стою лучшего».

Человеческое самоутверждение в любом самоуничижении ищет лазейку. В ламентациях П. В. лазейка — это ощущение несовпадения между позицией слабости (пусть обусловленной изнутри слабым жизненным напором) и ее данными и возможностями. Она красива и своеобразно красива, в вузе она была на виду, у нее находили способности. Все, что П. В. говорит о себе, ориентировано на эти дифференциальные отношения.

Н. Р., казалось бы, явление полярное. Она деятельная мужественная женщина, способная освоить самые трудные положения. Но у полярных предпосылок сходные результаты — жалобы. Ее тоже «обидели, обхамили». Если П. В. выдвигает причины психологические («с моим характером»), то у Н. Р. обострение социальной неполноценности. В отличие от П. В. она не вышла из буржуазно-интеллигентной среды, но явно принадлежит к слою более демократическому. Н. Р. не хороша собой, не уверена в том, как нужно одеваться, держать себя. Соответственно она ищет опору в своего рода неонароднических представлениях, в частности, в представлении об особой моральной ценности физического «простонародного» труда («грязь, которая пачкает только кожу...»). У нее чувство превосходства над теми, кто не может работать токарем и ухаживать за коровой. Пребывание же на умственной работе приносит только чувство ущемленности. «Кому татары, кому лятары

(цитата из популярного в свое время «Голого года» Пильняка), а кому ничего». Это об отношении начальства. Сослуживцы же какие-то чересчур изощренные. У некоторых не поймешь, где шутка, а где всерьез. А у нее шутки сами по себе (пошутить — это хорошо, придает бодрости).

Ламентации П. В. предполагают психологическую обусловленность, тем самым закономерность ее неудач; ламентации Н. Р., напротив того, имеют в виду только враждебные обстоятельства. Объединяет их простодушное отсутствие маскировки — свойственное женскому разговору и гораздо реже встречающееся у мужчин. Вероятно потому, что мужчина, даже самый эгоцентричный, реализуется в своем разговоре через интересы и ценности общего значения.

У обеих собеседниц — сосредоточенность, без стеснения выражающаяся вовне. С поводом и без повода всплывает на поверхность безостановочная, занятая собой внутренняя речь. Так и течет этот разговор. Каждая из них ведет свою партию, только поверхностно и формально соприкасающуюся с партией собеседницы. Только отправные точки для реплик. И в каждой партии чересполосица жалоб, признаний неполноценности и попыток самоутверждения. Работа токарем, корова, детские ясли — это самоутверждение. Но его изнутри разъедает чувство неполноценности. Ведь в пределах нормальных профессий Н. Р. никак не может найти признание. Ее «за интересную работу можно бесплатно купить». А раз не дана интересная работа — остается поза цинизма — утешающая человека, как всякая игра и поза. Цинизм понимается просто — «желание ругнуться крепко», выражения «жрать нечего», «какого черта» должны служить словесными знаками цинизма. Словоупотребление Н. Р. вообще отличается буквальностью, отсутствием запретов и разрывов между содержанием сообщения и его стилистикой. Относящий себя к элите, напротив того, всегда пользуется словесными масками. Они заграждают вход в мир его чувств, обеспечивают его мыслям свободу. Н. Р. с полной серьезностью говорит: «Я так грустила», «наставительное письмо», «грязь, которую легче отмыть» (метафорически).

Цинизм, скептицизм — это только надрыв, порождающий игры и уклонения демократического по своему существу сознания.

Народническая его фактура выражается порой мхатовскими интонациями и кряжистыми оборотами: «битая, колоченная, никем не проглоченная», «похлебнее», «одна-одине-

шенька», «ходит тихонечко». Это сигналы того же порядка, что и корова. Они должны означать человека — пусть с надрывом — но все же почвенного, в окружении беспочвенного актерско-литераторского трепача.

Речь П. В. также идет зигзагом — от признания фатальности своих деловых неудач до слабых попыток делового самоутверждения (большому начальнику понравилась ее передача . . .); от реминисценций юношеской духовной жизни (они воплощены интеллигентскими штампами: «вопросы», «неизвестно зачем существую . . .») до откровенных, весьма специфических штампов женской речи, расположенной — даже в обывательской иерархии — на низком уровне. Это разговор о поклоннике, который стал ходить раз в неделю и приносить пустячки. Слова-поступления, не что-нибудь солидное — особенно выдают специфику. И в то же время сквозит в ее речи какая-то догадка об этой самой специфике, оттенок не непосредственного употребления этих слов. Ведь сразу же после разговора о пустячках и солидном следует игра со словом «мамаша», запрещенная в интеллигентской речи.

Когда собеседницы, упорно говоря о себе, вступают все же в контакт, обнаруживается неожиданное соотношение. Сильная женщина Н. Р. ищет у слабой покровительства. Она не знает — тубетейка — это хорошо или плохо? И П. В. берет решение на себя («Я вас не вывожу в свет . . .»). Сознание женского превосходства для женщин настолько серьезно, что слабая учит жить сильную и вообще задает тон. Н. Р. в этой области не имеет претензий, и ей не обидно. Все это выражено разговором о тубетейке.

Входит Липецкая с платьем в руках. Это платье становится отправной точкой развертывающегося разговора.

П. В.: Покажите, покажите. У вас что-то симпатичненькое. Это она вам сшила? Но эту девушку надо кормить с утра до вечера . . .

— Более или менее.

— Сколько же это вам обошлось?

— Дорого, дорого. Я вам скажу. Кроме денег — полкило хлеба в день и еще целый день я ее кормила.

— Н-да . . .

— Дорого, если перевести на деньги. Но в общем получается платье. Понимаете, какой-то облегченный быт в смысле рождения платья.

Н. Р. (перебивает течение разговора немотивированным сообщением о себе; это именно то, на чем она внутренне сосредоточена. Липецкая сочувственно реагирует): Я ско-

ро уже поселюсь у себя в комнате. Очень это перетаскивание трудно.

Липецкая: А тот не появлялся милиционер, который обещал вам помочь?

— Появлялся, но неудобно все время пользоваться. Надо еще перевезти вещи брата. Книжки там пропадут. Несколько шкафов. Шкафы тоже пропадут. На дрова изрубят.

П. В. (Липецкой, продолжая диалог): Оно вам к лицу.

— Очень. Мне вообще английские вещи идут.

— Кому они не идут. Они всем идут. Мне безумно хочется что-нибудь себе спшить. Просто никогда так не хотелось. Но как это? Пока что я думаю, не шить ли себе зимнее пальто. У меня лежит пальто мужа. Ничего, конечно, из этого не выйдет.

— Я рассчитываю сегодня получить хлеб. Еду на концерт на хлебозавод. Вот как стоит вопрос. Тогда еще что-нибудь себе сделаю.

— Что это такое?

— Пять яиц.

— Какая прелесть. Откуда это? Подарок?

— Подарили. У меня тут еще подарок.

— Я сейчас тут одинока. Мой поклонник на фронте. Так что... Ничего, пока что я себе буду заказывать муфту и капор.

— Тоже вещь.

— В общем. Отвлеченно. Кстати, надо это засунуть, чтобы не забыть. (Перекладывает хлеб.)

О.: Вы, я вижу, умудряетесь сохранить хлеб на вечер.

— Это я для мамы сохраняю. У меня мама теперь голодает. Так что я занимаюсь тем, что непременно должна ей приносить. Иначе скандал получается.

Между П. В. и Липецкой идет классический женский разговор: портниха, наряды. Но осуществляется он в необычайной, невероятной (блокадной) ситуации. И ситуация сообщает репликам совсем особые вторые смыслы и подводные темы. На вопрос, сколько обошлось платье, Липецкая с восторгом отвечает: «дорого, дорого». Вопрос открывает перед ней широчайшие возможности самоутверждения. Осуществляется оно не столько в женском плане, сколько в профессиональном. Все эти женские блага — платье, чулки, духи — оплачены хлебом, а хлеб, в свою очередь, цена ее актерского успеха. У ситуации своя, невиданная мера ценностей. Переводится она на язык

самого прямого и простодушного хвастовства своими успехами и их материальным результатом.

Для П. В. это тоже не просто разговор о тряпках. Сейчас сшить себе платье — это прикоснуться к нормальной человеческой жизни. Это забыться, вроде как бы напиться или затанцеваться до одури. Именно потому «безумно хочется» и «никогда так не хотелось». Но все это ей не по силам, даже сшить пальто из пальто мужа. «Ничего, ничего из этого не выйдет» — ламентация по этому поводу и по поводу того, что мать голодная и надо ее кормить из своего пайка. Но по мере того, как продолжается разговор о хлебных перспективах Липецкой, о пяти яйцах, полученных в подарок и проч., у П. В. возникает потребность сопротивления — оказывается, она тоже могла бы побеждать обстоятельства, только не профессиональным способом, а женским (поклонник на фронте). Пока что в противовес она выдвигает муфту и капор. И Липецкая, благодушная в своем торжестве, снисходительно подтверждает: тоже вещь.

(Входит Ярцев.)

Липецкая: Я сегодня купила себе духи. Те я разбила. Слушала 7-ю симфонию и разбила.

— Я слышу — какой-то другой запах.

— 20 рублей. Самое дорогое, то есть и самое лучшее. Я вдруг поняла, что это не противно. Вполне прилично. Я очень люблю духи. И сейчас это нам необходимо. Где только не приходится тереться. Да, начинается концерт...

— Он начинается часов в шесть?..

— Он начинается часов в семь и помещается, к сожалению, в конце Международного. Этот самый хлебозавод.

— Дай бог, чтобы в девять...

— Вечером мы, наверное, перекликнемся. Дом вовсе не 8-а, а 14 во дворе. Наряд на вас у меня уже есть.

— Насчет 14 во дворе. Зонне подходит ко мне и говорит, нельзя ли начать позднее...

— Тогда поедете без меня. Я все объясню. Выйдете из двадцатки, пройдете буквально один дом.

Ярцев (П. В.): Так, слушаю вас.

— Так, тут было три рассказика.

— А стало два.

— А стало два.

— А мы поглядим, поглядим.

— Хорошие рассказы. Можно было и три.

— Нет, это много, у актеров воздуха не будет.

— Я решила, чтобы был воздух. Вы можете подождать пять минут?

— Ни одной. Мне должны впрыскивать аскорбин. Наконец я добился. Так что иду оскорбляться.

В разговоре со своим коллегой Ярцевым Липецкая продолжает ту же партию, с тем же удивительным отсутствием словесной маскировки. Но разговор о покупке духов — это не просто лобовое хвастовство, здесь есть более тонкая глубинная тема — победы над обстоятельствами. Обстоятельства до такой степени побеждены, что можно относиться к духам не как к явлению ослепительному, сказочному (в ситуации самой неподходящей для духов), но говорить о них свысока (не противно, прилично...), применяя критерии нормальной жизни.

Далее Липецкая с удовольствием переходит к деловому разговору о концерте. Это сфера, питающая переживание собственной профессиональной ценности, непосредственно связанная с вытекающими из нее благами. О ней говорить так же приятно, как о благах. Адреса, номера домов, расписание — все это аксессуары, которыми лестно оперировать, повторяясь, вдаваясь в ненужные подробности.

Попутно у Ярцева завязывается краткий диалог с П. В. Там были прежде какие-то отношения (может быть, просто флирт), которые П. В. хочет продлить, а он не хочет. Поэтому у него интонация доктора, успокаивающего пациента, — «поглядим, поглядим».

П. В. наивно подхватывает театрально-жаргонный термин «воздух». Ей хочется иметь с режиссером общий язык. Притом это словоупотребление подтверждает ее всеми оспариваемые деловые возможности.

(Ярцев уходит. Входит З.)

Н. Р.: Хорошее платьеце.

Липецкая: У З. А. есть еще одно славное платье с воланчиками.

— Я не знала, что у меня есть платье с самоварчиком.

— С самоварчиком?

— Вы сказали.

— Я сказала — с воланчиками.

Липецкая (упаковывая сумки): Еду на хлебозавод. Концерт и хлеб. Хлеба и зрелищ. Им зрелищ, мне хлеба. Не знаю, если дадут столько, сколько в прошлый раз, то это — я не знаю... Я пять дней ела и ела хлеб. И они говорят — берите, берите, сколько хотите.

П. В.: Какой — белый?

— Главным образом — черный. Но вкусный — замечательно.

З.: Мне нравится, как вы укладываете эту тару.

— Ленинградские актеры теперь так натренированы. Но иногда эта тара возвращается пустая. Но так обидно, когда что-нибудь есть и не во что взять. Так что на всякий случай...

П. В.: Ну, сегодня не вернется пустая...

Н. Р.: Не говорите при мне о хлебе.

З.: Никогда нельзя говорить при людях, которые голодные.

Липецкая: Нет, я не просто так говорю. Я ее пригласила с утра кушать хлеб. Вы будете уже с утра кушать хлеб.

Н. Р.: Вы мне о хлебе расскажете завтра.

(Липецкая уходит.)

З.: Господи, как это бестактно. Как можно об этом говорить?

П. В.: Да, она меня тоже чем-то раздражила. Какой-то она получила подарок. Семга, нет, не семга. Не могу вспомнить. Да, пять яиц. Нина, пойдемте на рацион шроты жрать.

О.: Зачем вам жрать шроты — сбегайте на хлебозавод.

— Вот Нина могла бы. Я ее еще возьму в оборот.

(Уходят.)

З.: Возмутительно. Слушайте, как это можно. Ведь они всегда голодные. Какая бестактность! Я с трудом удержалась, чтобы не сказать, что она дура. Вообще она очень нехороший человек. Фальшивый.

(Входит Н. Р.)

— Вы о чем тут? О Липецкой?

З.: Я говорю, как это нехорошо. Можно такие вещи говорить в кругу людей, которые имеют обед без выреза, но не при голодных же людях.

Н. Р.: У нее это так непосредственно получается. Я никогда не обижаюсь. Даже странно, я начала писать мужу. Сначала мне трудно было. Потом вдруг развеселилась. Продолжала, знаете, совершенно спокойным голосом. Написала о московских подарках. Кому татары, кому ляхы, а кому ничего. В таком ироническом тоне...

— А что такое?

— А меня сегодня обхамили, обидели.

Режиссер М.: Товарищи, говорят, что мы водку получаем. Очередные пол-литра.

З. (П. В.): Возьмете завтра.

- Завтра в нее прибавят еще больше воды.
- Мы-то, рационщики, пока ничего не получаем.
- Неужели вам будут класть в суп по ложке водки?
- Или выдавать по рюмке к обеду?..

Женский разговор, прерванный появлением режиссера, готов возобновить свое течение. Поэтому, когда входит З., внимание по инерции направляется на ее платье. Вспоминают и другое ее платье. Но З., в качестве светлой личности, не разговаривает о туалетах — низкая тема. Отказ от нее дает женщинам ощущение человеческого превосходства, так же как понимание тонкостей этой темы дает им ощущение женского превосходства над непонимающими. З. не хочет быть втянутой в бабий разговор, и она ускользает, инсценируя словесную путаницу (самоварчик — воланчик). Самоварчик переводит разговор в колею смешного, вскрывает смешное звучание слова «воланчик», которое мыслящий человек не может употребить всерьез.

Не обращая на это внимания, Липецкая продолжает свое. Но среди пугающих своей прямоотой сообщений, о том как она «пять дней ела и ела хлеб», вдруг появляется формула «хлеба и зрелищ» («им зрелищ, мне хлеба»). Формула, призванная показать, что по своему культурному уровню она, в сущности, выше грубо материальных интересов, но в данных обстоятельствах она с успехом и удовольствием реализуется на этом материале. Умело организованная тара также входит в эту реализацию.

Три женщины подают реплики по ходу этого разговора. Каждая в своем роде. Реплики П. В. — в основном разрядка аффекта. Аффекта зависти — к платью, к хлебу, а через них к победоносной жизненной позиции (тут зависть всего острее). О хлебе — «какой — белый?», о таре — «ну, сегодня не вернется пустая» — это саморастравляющие реплики. Зависть П. В., в сущности, добродушна. Завидуя, она никому не желает зла, даже житейской неудачи. Это и позволяет ей завидовать честно, без камуфляжа, объясняя это обычно утаенное чувство вполне адекватными ему словами. После ухода Липецкой: «она меня раздрадила...», «семга, нет, не семга», «да, пять яиц». Яйца — это прекрасная реальность. Семга — мечты. И мечте противопоставляется умышленно грубое «шроты жрать».

А З. настойчиво ведет свою тему — тему отрешенности от всего низменного, морального превосходства над окружающими. «Мне нравится как вы укладываете эту тару». Это совсем не механическая речевая реакция на внешнее

впечатление. Эта реплика расшифровывается: тут все завистливо толкуют о хлебе, который достанется этой женщине, а меня занимает, например, ловкость ее движений.

Но З. не удержаться в таких пределах, и следующая реплика—уже прямое суждение, осуждающее, наставление и утверждение своего душевного благородства: «нельзя говорить при людях, которые голодные».

Липецкая, как бы не замечая обидный смысл замечания (она слишком упоена), в ответ объясняет свое поведение наилучшим образом. Она «не просто так говорит», она приглашает Н. Р. «кушать хлеб». И в самом деле — у нормального, не злостного, не сверхэгоистического человека — потребность помогать, кормить, опекать также входит в систему самоутверждения.

После ухода Липецкой З. с жадностью возобновляет разговор. Пафос осуждения и морализования теперь уже ничем не ограничен. О бестактности и аморальности Липецкой речь идет в отсутствие пострадавшей (Н. Р.). Но вот Н. Р. возвращается. З. не только не прекращает разговор, но повторяет для пострадавшей его основные положения. «Можно такие вещи говорить в кругу таких людей, как Ярцев, как я . . .» — это доводится до сведения бескорыстность ее негодования, лично она не ущемлена, не завидует.

Свое превосходство над окружающими (моральное) З. утверждает с не меньшей прямолинейностью, чем Липецкая — без эвфемизмов и умолчаний. Соответственно слова у нее однозначные, синтаксис развернутый и дидактический, необычный для устной речи. Только что оберегавшая от чужой бестактности голодного человека, теперь этому самому голодному человеку З. говорит, что он голодный и что при нем надо воздерживаться от возбуждающих разговоров.

Н. Р. нужно защититься, а для этого защитить Липецкую (помощь которой она принимает) — «У нее это так непосредственно . . . Я не обижаюсь». Но о том, как ее обхамили, обидели, обошли при распределении московских посылок, она испытывает потребность рассказать, эмоциональную потребность. И, как обычно у Н. Р., жалобы на унижающие обстоятельства смешиваются с сообщением о мужественном преодолении обстоятельств. Так она говорит о письме на фронт к мужу (он нуждается в ободрении), написанном спокойно и «в таком ироничном тоне». Наивное понимание иронии, свойственное людям, далеким от того подлинного иронического состояния сознания, кото-

рое исключает, конечно, подобные высказывания о своем «ироничном тоне».

Н. Р. (после разговора по телефону): Это много менее приятно, чем я думала. Сегодня надо на огород ехать.

З.: Ой!

П. В.: Вечером?

Н. Р.: Черт его знает.

З.: Хоть погода хорошая. Это приятно.

Н. Р.: Да. Но в таких случаях следовало бы предупредить.

Н. Р. (по телефону): Так. Если вы сумеете организовать машину, то Инбер будет выступать. Здесь. Но в комнате его сейчас нет. Хорошо. Позвоните. Дайте мне его.

— Он уже повесился. «Я спешу, я бегу — пока».

— В городе нет ни мышей, ни мух, ни клопов. Ничего.

З.: Клопа одного видела.

— Видели? Это событие.

— А что это Т. говорил, что ожидаются какие-то крупные улучшения в вашей столовой.

Н. Р.: Пока что мы этого не видим. Мы видим шроты, шроты и шроты. Причем шроты в двух видах.

З.: Возмутительно!

П. В.: Опять Т. будет в пять и это будет не пять.

Н. Р.: Звонил Т. и сказал: вы едете на огород? Машина готова. Сговоритесь с Поповым.

П. В.: Водку я, очевидно, сегодня не буду получать. Или получить и спрятать?

— Интересно — где?

Н. Р.: Скажу Т. — если дадите табак — поеду на огород. Я совершенно не могу без табака.

З.: Не знаю из-за чего — из-за Пушкина или Блока, но очень люблю это имя — Александр.

П. В.: Все-таки мне надо, очевидно, сматывать удочки.

З.: Вы все-таки сначала поговорите.

— Судя по его тону . . .

— Но поскольку Яша занимает другую позицию.

— Яша никакой позиции не занимает. Я же вчера говорила. Он очень уклончив. Ни на какую позицию я не надеюсь. Его отношение ко мне очень изменилось.

— Да. Вы уверены, что это не объясняется его состоянием сейчас?

— Его отношение ко мне очень изменилось. Раньше он меня провожал — так, из частного интереса к человеку. Когда у меня были неприятности, он успокаивал. Когда я была голодна, он меня водил в столовую, кормил по своей карточке.

З.: За то время, что я здесь, он вообще страшно изменился. Он ведь вас не видит, не слышит, не здоровается.

— Чем вы это объясняете?

— Я объясняю — это большая поглощенность чем-то другим. И известная невоспитанность.

(З. уходит.)

Н. Р.: Я отбояриваюсь. Я сказала — ничего не имею против в принципе, но меня надо было предупредить. Я оделась бы потеплее, взяла бы табак. Он сказал — но завтра зато пешком будете идти.

— Как же это вы пойдете пешком?

З. (входя): Все-таки, товарищи, у меня пропали карточки.

— Каким образом? Где?

— В той комнате — украли. Я вышла и просила О. Н. (это секретарша) посмотреть за портфелем. Она забыла и тоже ушла. Когда я вернулась, там никого не было.

— А портфель?

— Портфель был. И знаете — все очень странно. Во-первых, карточки взяли не все, а только хлебные — на декаду. Во-вторых, там были деньги. Так денег взяли только часть. Все очень загадочно.

— М-м-м.

— Погодите, это еще не все. После этого в моем портфеле обнаружилась неизвестная женская фотография.

— Боги!

— Такая хорошенькая головка. Силуэт. Сидит в купальном костюме. До половины срезана.

— Лучше всего, что в купальном костюме! Еще подлецы издеваются.

Н. Р.: Послушайте, надо вызвать собаку. Она обнюхает женскую головку и немедленно найдет ваши карточки.

О. Н. (входя): Но как же это. Я все-таки не могу не возвращаться к этому вопросу.

З.: Не стоит об этом говорить.

— Как же это? И что у вас там еще было?

— Деньги были.

— И все осталось?

— Часть денег тоже пропала. Денег, конечно, меньше жалко.

О. Н.: Господи, пять дней без хлеба — это ужасно.

— Хорошо, что остальные остались.

— Что же — только хлебные? Так что водку и изюм вы получите?

— Водку я получу. Признаться, я предпочла бы хлеба.

— За вашу водку вы можете получить на месяц хлеба.

— Не будем об этом говорить. Во всяком случае, имея обед, за пять дней я не умру. А это в конце концов самое главное. Ничего, товарищи, бывает хуже.

Пропавшие карточки — своего рода кульминация жизненного поведения З. Одно из самых больших несчастий, какие могут постигнуть блокадного человека, переносится не только бодро, без жалоб, но объявлено фактом второстепенным — по сравнению с высшими интересами. Но о силе высокого духа все вокруг, по возможности, должны знать. Очень поэтому кстати все превращается в увлекательную историю, юмористическую, сюжетную, — следовательно, имеющую общий интерес. Это настолько кстати, что допустимо подозрение — не вымышлены ли некоторые детали для украшения этой истории.

Ольга Николаевна, секретарша, расстроена и взволнована. Она чувствует себя виноватой, так как вышла из комнаты, забыв про порученный ей портфель. З. успокаивает ее — это красиво. Узнав, что талон на водку сохранился, О. Н. с облегчением подсказывает практический выход: за водку можно получить «массу хлеба». Но З. быстро отводит эту тему — «не будем об этом говорить». Ведь если водку можно обменять на хлеб, то мужественное поведение окажется как бы несостоявшимся.

Немцы стреляют по городу. Пространство, отделяющее немцев от Ленинграда, измеряется десятками километров — только всего. А механизм разговора работает, перемальвает все, что придется — мусор зависти и тщеславия, и темы жизни и смерти, войны, голода, мужества и страха, и горькие дары блокадного быта.

СТОЛОВАЯ

Сейчас (в отличие от зимы) в столовой уже разговаривают — не только произносят отдельные фразы. Человек стремится объективировать в слове самые актуальные для него содержания своего сознания или овладевшие им аффекты. Блокадные люди, естественно, говорят о голоде, о еде и способах ее добывания и распределения. Самое пребывание здесь, в столовой, способствует этому в особенности.

В то же время сейчас (в отличие от зимы) людям уже мучительно хочется освободиться от дистрофических наваждений; освободиться — шуткой, сплетней, профессиональными соображениями, рассуждениями о литературе . . . Но блокадная тема всегда присутствует, явно или скрыто, — намагниченное поле, от которого нельзя оторваться.

Люди в этой столовой расположены на разных ступенях отношения между человеком и голодом. Здесь есть писатели на гражданском положении и на военном (то есть корректно одетые и более сытые), здесь, наряду с писателями, есть и другие прикрепленные к столовой — раздражающие писателей, потому что они создают очереди, а главное, потому что нарушают законы и правила элитарности.

Градации голода и сытости определяют содержание разговоров, то есть определяют возможность индивидуальных отклонений от главной темы. Сквозь блокадную специфику различимы вечные механизмы разговора — те пружины самоутверждения, которые под именем тщеславия исследовали великие сердцеведы, от Ларошфуко до Толстого.

Механизмы повседневного разговора владеют человеком, но они его не исчерпывают. Люди, плетущие в этой блокадной столовой свой нескончаемый разговор, — прошли большими страданиями. Они видели ужас, смерть близких, на фронте и в городе, свою смерть, стоявшую рядом. Они узнали заброшенность, одиночество. Они принимали жертвы и приносили жертвы — бесполезные жертвы, которые уже не могли ни спасти другого, ни уберечь от раскаяния.

А механизм разговора работает и работает, захватывая только поверхностные пласты сознания. Стоит ему зачерп-

нуть поглубже — и все вокруг испытывают недоумение, неловкость. Каждому случалось говорить слова, которые были истинной мерой жизни, — но это в редкие, избранные минуты. Такие слова не предназначены для публичного, вообще повседневного разговора. Он имеет свои типовые ходы, и отклонение ощущается сразу, как нарушение, неприличие.

Лучшее, что есть в человеке, в его разговоре запрещено. Оно не стереотипизировалось, и неясно, как его выразить и как на него реагировать.

Повседневный разговор не слепок человека, его опыта и душевных возможностей, но типовая реакция на социальные ситуации, в которых человек утверждает и защищает себя, как может.

И блокадная ситуация, при всей неповторимости, быстро отстоялась своими шаблонами разговора.

За столиком вместе с писательницами бухгалтерша из цирка с мальчиком.

Писательница: Все равно я не могу успокоиться, пока у меня в шкафу хоть одна конфета. Я все равно подхожу и подхожу, пока все не съем. Тогда кончено, и совершенно не страдаю оттого, что у меня нет конфет. Вот я страдаю от того, что масла нет, — это действительно.

Вторая писательница: У меня то же самое с конфетами. Я уже запираю от себя — не помогает. Пока они есть — не находишь себе места.

Бухгалтерша: Знаете, у нас такой диван с верхом в виде шкафа. Так устроено. Мы с ним (с ребенком) спим на диване. У каждого свое одеяло (признак цивилизованности), но спим вместе. Вот он начинает ворочаться, ворочаться. — Мама, мама! Я говорю: Ну, что такое? Он говорит: Ты же знаешь — ну еще одну из шкапа . . . Это конфеты. Так пока все не вытащим. Он у меня раньше нигде ничего не ел; очень избалован был всяким домашним. Если бы не он, я бы ни за что не уехала.

— Вы куда?

— В Ярославль. Я ведь с цирком.

— А, вы обязаны с цирком. Что же весь ленинградский цирк едет?

— Нет. Там ведь группы. Такая система.

— А вы что делаете в цирке?

— А у меня работа неинтересная (стесняется) — бухгалтером. Мне сейчас предлагают в одном высшем учреждении — хорошие условия. Но я решила ехать. Все равно,

пока знаешь, что оно не стоит в шкапу и нельзя подойти и сварить,— все равно сыт не будешь.

— Нет, там хорошо кормят. Вы были бы сыты.

— У меня в Ярославле мама. Она пишет, что все есть. Все бросай, приезжай поскорее. Я когда прочла это, так захотелось ехать.

Третья писательница (энергичная и принадлежащая к блокадной аристократии): Так надоели эти каши.

— О! Уже надоели. А мне бы так побольше.

— Нет, я уже не могу. Заелась. Я никогда в жизни столько не ела. Дома были вечные разговоры: Ниночка, съешь, мамочка, съешь, ты ничего не ешь. Я съедала утром чай с булкой и маслом — и до вечера. Вообще не было времени. Теперь я ем. Меня развезло от этих каш.

— Безобразие, что здесь теряешь столько времени.

— Да, чтобы что-нибудь получить в буфете...

— Я беру в буфете только когда нет очереди. Что очень редко. Я просто не могу себе это позволить. Я предпочитаю заплатить тридцать рублей за эту сою... Это неслыханно, что нас здесь заставляют терять два-три часа.

— Главное, чем больше народу уезжает, тем больше народу обедает.

— Самое интересное, что те, кто здесь обедает, не только не писатели, но даже не читатели. Вы посмотрите.

Я уже думала — если б у нас было столько произведений, сколько здесь обедающих.

— Я еще не знаю, выиграли ли бы мы на этом.

— (Смех) Верно. Но вы посмотрите—это не только не писатели, это даже не читатели.

Я вчера опять выступала в госпитале. Они так принимали, так принимали. Даже нельзя было себе представить. Я с ними разговаривала. Какие люди! какие люди.

— Вы что же читали?

— Рассказики свои. Просят постоянно бывать. Они уже там знают, как я отношусь к кашам, и стараются дать что-нибудь другое. Я вообще стараюсь отказываться. Но неудобно.

Между писательницами и бухгалтершей из цирка идет обычный блокадный разговор о голоде, о распределении еды, о том, как именно это у каждой из них получается. Новую тональность вносит третья писательница, вроде актрисы Липецкой, побеждающая обстоятельства. Победоносность выражается в том, что к материалу блокадной

жизни применяется фразеология мирного времени, нормального быта: Надоело... Невозможно терять столько времени... Неудобно отказываться... Все это совершенно вне ныне действующих норм отношения к еде и выражает поэтому их преодоление. Наряду с этим троглодитски примитивное отношение к обыкновенным людям, претендующим на то, чтобы обедать на равных с ней правах. Зато в госпитале — какие люди! (сублимация), и эти люди ее одобрили.

Но демонстрировать свое превосходство приходится все на том же блокадном материале. Мерилом ценности оказывается та же надоевшая каша, которую заменят «чем-то другим».

За другим столиком:

— Это хорошо. Но мне надоели эти повторяющиеся концовки. Это очень нарочно.

— Да, то есть вы стоите за кольцевые обрамления...

— Ну да, два раза перемывается его судьба, и оба раза из-за крысы. Это, конечно, возможно и это могло быть. Но когда это написано...

— Нет, почему. И это очень просто, хорошим русским языком. А. говорит, что это бирсовская тематика. А по-моему, она достаточно русская. Написано даже не по-горьковски, потому что Горький цветистый. Я бы сказала, что-то купринское.

— Нет, но меня раздражают эти концовки. Даже не то, что написано, а что именно А. это выдумал.

— Очевидно, нельзя читать рассказы своих знакомых. К сожалению, все знакомые.

За этим столиком гордятся тем, что среди разговоров о еде ведут разговор знатоков, со специальной терминологией. Одна из разговаривающих, всегда голодная, жадно подтирает кашу из тарелки, но у нее многолетняя инерция литературных изысков (кольцевое обрамление). А другая раздражена тем, что в психологические тонкости пустился А., ее знакомый, который, по ее мнению, не лучше, чем она, хотя сам думает, что лучше.

Сегодня в столовой дежурит (деловито движется между обеденным залом и кухней) председательница общественной столовой комиссии Н. С. Н. С. — сверхинтеллигентка, училась в Сорбонне, в Париже. Там же почему-то окончила

кулинарные курсы. Дифференциальным сочетанием интеллектуальной и кулинарной изощренности всегда гордилась. Сейчас же кулинарное начало стало средством победы над обстоятельствами. Н.С. ходит оборванная, запущенная, но совершенно не унывающая. Она с удовольствием говорит о деталях приготовления пищи. И с блокадным материалом у нее принцип обращения такой, как если бы это была спаржа и брюссельская капуста. Это тоже способ преодоления блокадного нигилизма; одолевали его люди по-разному — бреясь, читая научные книги.

— Обращаюсь к вам как к кулинарному авторитету — что делать с таким салатом?

— Собственно, его нужно выбросить.

— Вообще говоря — да. Но учитывая обстановку.

— Учитывая обстановку, его можно стушить.

— То есть это уже будет не салат...

— Конечно, разве можно есть как салат такую горькую гадость. Его нужно отварить, как варят брюссельскую капусту.

— Да, я от кого-то слышала.

— Это вы от меня же слышали. Должен быть соленый, крутой кипяток. Лучше первую воду слить. А тот хороший салат. Я взяла стволы и отварила их как спаржу, с постным маслом. Мы ели, очень вкусно.

— А листья?

— Ну из листьев я сделала салат. Что же еще? Я прибавила немного уксуса, немного масла, сахара нет...

— У меня нет ни уксуса, ни масла. Ничего, кроме соли, да и той нет.

— Нет, а мы с дочерью решили сейчас — как можно больше питания. Мы уже с утра варим зеленую кашу. Знаете, чуть-чуть муки, постного масла. Вообще зелень подешевела. Я купила вчера около нашей булочной на шестнадцать рублей — очень много.

У Н. С. — разговорный тон, оттенок юмора, французские фразы, внедряющиеся в русскую речь, и специфические кулинарные клише. Все это в применении к роковой теме еды. Она говорит об этом заинтересованно (отчасти как знаток-специалист), но в том же психологическом модусе, что и обо всем другом. Тогда как у слабых и побежденных совсем другой модус. Их разговор о еде — разрядка аффекта, и он не нуждается ни в каком объективном, практическом осмыслении содержания.

— Теперь я всю жизнь буду есть каши. Я этого не понимала.

— А я всю жизнь ела каши.

— Нет, я не ела каши. К тому же я всю жизнь безуспешно старалась худеть. Я в домах отдыха всегда отказывалась от утренней каши. Вообще не ела никаких каш, кроме гречневой. Гречневую я любила.

— Это как раз единственная каша, которую я не ела. Я никогда не ела черного хлеба.

— Я тоже очень мало. А сейчас я не скучаю по белому хлебу. Дали бы мне побольше черного. И сейчас белый хлеб — не белый. Как ваши военно-морские дела?

— Да вот оформляюсь. Оформляют документы. Не знаю, как это будет.

— Вам полагается форма. Женщинам вообще не идет китель.

— Мне вообще идет форма. Но такая, пехотная. А морская — не знаю. Плохо, что без пояса.

— Я теперь поняла секрет. Когда я съедаю подряд две каши — я сыта. Я долго не могла понять. Я приносила вторую кашу домой и сейчас же начинала ее есть. Оказывается, нужно съесть подряд. Я долго это не могла понять. Но тогда это тоже плохо, потому что нечем ужинать.

— Вечером можно есть зелень.

— Я сегодня стояла в очереди. И, конечно, опять кончилось до меня за два человека. А зелень, которая у меня была, я засолила. Вообще зимой я не могла жить спокойно, если у меня дома не было сто грамм крупы. Я даже меняла на хлеб.

(Входит Г. в военной форме.)

— Еще одна военная! Слушайте, очень хорошо! Вы совершенно похорошели. Только губы намазаны непропорционально. Надо было чуть-чуть.

— Это потому, что я спешила.

— Нет, она действительно совершенно изменилась. Она была такая потертая.

Г.: Оля, что вы поделяете?

— Борюсь с патефоном, который не дает мне кончить книжку.

— Кто же это так упорно веселится в наши дни? Наверное, какой-нибудь ребенок. Заводит и заводит...

— Нет, до глубокой ночи. Подумайте. Я уже пробовала, я не могу его пересидеть. Что-то ужасное.

— Это о донорах книжка?

— Да. Нет, вообще о переливании крови. Знаете, я наконец поняла то, что никак не могла понять. Когда я съедаю две каши подряд, а не вразбивку — я бываю сыта.

— Вторая каша — это вещь. Я вот хотела перехватить кашу у Е. М., но она вовремя одумалась.

— Я одумалась. Я вспомнила, что сегодня дают консервы. Каша сама по себе, без сахара, без масла меня не прельщала. Но с консервами и немножко томата — это уже получается ужин. Правда? Если я еще получу и обед...

В прежней жизни любить гречневую кашу (когда можно есть анчоусы) — это акт свободного выбора (простая и благородная пища). Реплика же «А я всю жизнь ела каши» — это простодушное использование возможности сказать вслух о том, что заполняет сознание. Но сейчас сознание вмещает уже и многое другое — даже идет ли женщинам военная форма или как лучше мазать губы. А для блокадных людей разговор на нормальные темы — это род самосуверенности. Но вот одна из собеседниц, по сравнению с другими, задержалась на более низкой ступени процесса освобождения от блокадных наваждений. Она сохранила одержимость, откровенность. Она сделала открытие практическое, имеющее чрезвычайное значение для нее, интересное для окружающих, — надо съедать две каши подряд. От этой темы ее отрывают этикетными вопросами о том, что она «поделывает», о книжке, которую пишет. На этой почве у нее появляется сразу окольное словоупотребление, принятый в данном кругу несколько иронизирующий тон («борюсь с патефоном...»). И сразу же маниакально немотивированное возобновление темы открытия, темы двух каш, съедаемых подряд. Опять вся прямота голодной фразеологии («бываю сыта...»).

Другая собеседница находится уже на высшем этапе освобождения от дистрофии, поэтому ее реплика эвфемистична. Эвфемистичность в том, что реалии голода обозначаются неподходящими словами, словами, которых нельзя наложить без остатка: «каша — это вещь», «одуматься» — в применении к каше.

Речь о каше идет и за соседним столиком.

— Сколько вам этих супов наставили.

— Я очень люблю овсяный суп.

— Я тоже. Боже, прежде — я и овсянка! Я вообще никаких каш не ела. У нас дома никаких каш не было. Только иногда гречневую, такими крупными зёрнами, мы ели.

— Нет, я каши всегда ела.

— Я больше всего люблю цветную капусту. Цветную капусту обожаю, и вареную курицу. Рыбу не люблю. Когда я была маленькой, не очень, но все-таки девочка, — у меня что-то было с почками. Мне врачи год не позволяли есть черное мясо. И меня год кормили вареной курицей. И несмотря на это, я ее так люблю. Утром обычная еда у нас дома была картошка, селедка.

— Нет, селедку я прежде в рот не брала.

— Нет, почему... у меня всегда дома была селедка, соленые огурцы...

Одна из собеседниц утверждает свое превосходство тем, что не ела кашу, другая тем, что не ела селедку (тоже плебейское блюдо). И не евшая кашу чувствует, что ее с селедкой поймали врасплох. «Нет, почему...» — реплика растерянности. Потом настаивает на своем, расширяя демократическую любовь к селедке до любви к острой еде вообще. Так прибавление соленых огурцов облагораживает селедку.

За столиком Л. (поэтесса, состоит в летной части), С., еще какая-то девушка. Речь о том, что Тихонов получил третий орден. Это разговор ведомственно интересный. Лестно, что в таком почете человек своего ведомства. Для зависти разговаривающие слишком незначительны по положению. Зависть есть, но совершенно абстрактного порядка. Младший дворник конкретно завидовал старшему дворнику, но домовладельцу он завидовал абстрактно. Это сообщение интересного и это демонстрация своей осведомленности по части событий, совершающихся на высших уровнях своего ведомства (столовая, ордера, конечно, животрепещущий, но низший план разговора).

— Это уже третий.

Л.: Ленина он получил, когда награждали писателей.

— За финскую войну — Красную Звезду...

— Нет, Красное Знамя, боевое, кажется. Да, Красное Знамя. И теперь Отечественной войны 2-й степени. (После паузы). Все разные — красиво. (Во время паузы она представляла себе, как они лежат на груди. Это эмоциональная реплика.) И он подполковником считается.

С.: Одновременно появилась его статья о Ленинграде.

Продолжение интересной информации. Реплики из нее исходят и, цепляясь друг за друга, образуют движение разговора.

— Это в «Ленинградской правде»?

— Нет, и в Ц. О. тоже.

— Так «Ленинградская правда» значит перепечатала?

— Нет, она здесь появилась совершенно независимо.

Л.: Ну, это Тихонову может пройти. Со мной бы так не прошло. «Ленправда» сейчас же в таких случаях устраивает истерику: мы не филиал центральной прессы. (Смысл скромного признания: далеко мне до Тихонова в том, что «Ленинградская правда» в сотрудничестве Л. заинтересована сверх меры. Истерика подчеркивает интимные, фамильные отношения с редакцией).

С. (продолжая обнаруживать осведомленность): Так ведь статья Тихонова сначала появилась в Ленинграде.

О. (прислушивается к разговору): А так как Ц. О. не боится, что ее сочтут филиалом...

С.: Филиалом «Ленинградской правды!» (Показывает, что шутка до него дошла.)

С. застегивает портфель.

Л.: Что он у вас не застегивается?

С.: На один замок...

— Ну хоть на один... (Глядя в окно): Какой вид из этого окна замечательный. Я всегда люблюсь.

С.: Да, какие-то такие ассоциации возникают... с морем... Ялгой...

Обмен бессмысленными репликами. Знакомым людям сидеть за одним столом и молчать неловко. Они заполняют пустоту чем попало — разговором о незастегивающемся портфеле. Замечание о виде из окна сопровождается, впрочем, удовлетворением от выражения своих эстетических переживаний. Нелепая ассоциация с морем и Ялтой означает, что С. просто хочется тоже сказать что-нибудь красивое. Но Л. уже круто поворачивает тему на себя, пользуясь подсказанной ей ассоциацией: море — Кронштадт.

— Хоть бы мне отправится на время в Кронштадт. У моряков поработать. Море хоть повидать. Так нет, меня не отпускают. Их представитель уже говорил с нашим генералом. Так он сказал: нет, она и со своей армией не справляется... Нечего... Так и сказал — она и со своей армией не справляется. — Шикарно звучит! Она и со своей армией не справляется.

Л. уже не может удержаться от сладостного повторения одной фразы. Все это слегка обволакивается атмосферой курьезности (рассказываю курьезный случай нарочито вульгарным словом «шикарно»).

Л. обидно, что Рывина, например, аттестована капитаном, а она рядовой (у нее среднее образование). Зато она настоящий солдат. В зависимости от контекста гордится то тем, что ей предоставляется полная поэтическая свобода, то тем, что к ней предъявляют требования как к всамделишному бойцу.— На улице: Ох, я заговорила, забыла приветствие отдавать. Вижу, как на меня грозно смотрят.

Рассказывается очень длинная история, как ее шесть раз задерживали за отсутствие фотокарточки на документе, но отпускали любезно (особое положение женщины и поэта). Наконец, пригрозили. Докладывают начальнику («мой генерал-майор»). Он тотчас же распорядился сфотографировать, переменить пропуск и на пять дней на гауптвахту.

— Кого?

— Меня. За то, что задерживали. Пять дней гауптвахты. Потом смилостивился. (Гауптвахта — звучит гордо.)

Приняла участие в полете.— Я когда куда-нибудь отправляюсь, потом могу писать дома, делать, что мне угодно, но должна рассказать, где я была, что видела. Я рассказываю начальнику, он вдруг как стукнет. Кто тебе позволил! С ума сошла! Еще раз что-либо подобное — расформирую, отправлю в Союз писателей. Так и сказал — расформирую и в Союз писателей. Ее распекают как настоящую (хорошо, что даже на «ты»), но помнят притом, что она писательница.

Девушка: Как я вам завидую, что вы с летчиками. Вы не можете себе представить, что такое для нас, обыкновенных людей, — летчики. Для меня летчики — святые люди. Они, наверное, из другого теста сделаны.

Л.: Нет, они из того же теста. Но, конечно, в них много такого, что их приближает к детям и поэтам.

(Это ответ поэта.)

За столом И., Н. и другие.

И. преодолела тяжелую дистрофию, была ужасна на вид, но не прекращала интеллектуальной жизни и научной работы. Это очень маленькая научная работа, но она относится к ней со всей серьезностью архаической интеллигентки. Когда-то ее ближайшая приятельница Д. рассказывала, что в пылу каких-то пререканий И. сказала ей: но ведь я научный работник, а вы нет. Д. рассказала это, правда, в виде смешного случая, но сама была не без серьезности и, кажется, никогда не могла И. этого забыть или простить.

Следовательно, И. ощущает свое поведение как героическое (и она в своем роде права) — она ходила страшная, голодная, но она продолжала изучать литературу XVIII века. Вопрос о смысле и ценности этого изучения в данной ситуации для нее не стоял. Для нее самое дорогое (свидетельство ее жизненной силы) то как раз, что она продолжала прежнее по возможности без изменений. И надо сказать, это все же высшая ступень по сравнению с теми, кто использовал катастрофу как внутренний предлог, чтобы отбросить все, требовавшее умственного усилия. Но И. могла продолжать потому, что она питалась. Отношение к еде у нее не самоцельное. Это почтенное средство для сохранения высшей жизни; вопросы рационализации этого средства имеют для нее большой личный интерес, а также, с ее точки зрения, — общезначимый. Есть о чем поговорить.

И.: Вообще я предпочитаю брать на вечер в столовой. Дома с этими кашами столько возни (подразумевается — сохранение времени для умственной деятельности). Но здесь в последнее время никогда ничего не дают по вырезу. Мне необходимо брать в магазине, чтобы всегда иметь что-нибудь дома.

О.: Отчего — я получил сегодня лапшу.

— Ну, это надо приходить чуть ли в два часа (подразумевается: кроме своей научной работы она занята еще серьезной и ответственной служебной работой. Не следует забывать — еда важный фактор, но она не цель, а средство).

Н.: Вам бы следовало иметь вторую карточку — рационную. Это все-таки очень удобно.

И.: Я не могу иметь рационную карточку. Когда живешь на краю света...

Н.: Но вы можете брать завтрак за обедом, одновременно.

И.: Я всегда рискую сюда не попасть. Мне необходимо иметь что-нибудь дома...

Н. (к О.): У вас вторая карточка — рационная?

О.: Магази́нная. Я ведь неисправимый индивидуалист. (Ироническим оборотом речи показывает свое превосходство над предметом разговора.)

У Н. все время была позиция откровенного голода, lamentаций, разговоров о еде, как о сфере эмоционального возбуждения и преимущественного интереса. Она охотно поддерживает разговор И., так как всякий разговор о еде до сих пор действует на нее возбуждающе. Говорить прямо о себе в этом плане все же не всегда ловко. Но можно

переживать отраженное удовольствие, углубляясь в обстоятельства собеседника, обсуждать, давать советы. К тому же у Н. особые основания для разговора о рационе. Она сама на рационе. На это дело существуют разные точки зрения, и ее мучит мысль, что вдруг она избрала не лучший способ питания. И ей хочется, чтобы другие поступали так же. Поэтому она задает вопрос О. насчет карточки. Поэтому убеждает И. перейти на рацион и, выслушав, что И. «всегда рискует сюда не попасть», — говорит:

— Ну да, у вас другое положение . . .

Это обстоятельство действует на нее успокоительно.

К столу присаживается Уинкот с женой. Уинкот (уборщица называет его военкот) — англичанин, журналист и коммунист, прибившийся к Союзу писателей. Жена его, Муся, — русская. Муся с заплаканными глазами. Предполагается, что ее возьмут на торфоразработки. Она беспрерывно говорит об этом, и только об этом может говорить, разговор как разрядка аффекта. Она сразу же, обращаясь ко всем, начинает говорить то самое, что она полчаса тому назад говорила наверху, в библиотеке, где распределяют на работы.

— Они потеряли эту бумажку. У меня была бумажка на освобождение, когда я вышла из больницы. Мне делали очень серьезную операцию. Две вещи врачи могут установить (тут она опускает детали, которые были сообщены наверху). Но это не дает освобождения. Главное можно установить, только если мне опять разрезать живот. Врач мне сказала — поезжайте, вас через три-четыре дня отпустят, потому что вас вынесут на носилках (наверху было сказано, так как вы заболете, носилки уже появились в процессе эмоционального нарастания и, вероятно, будут фигурировать во всех последующих рассказах). Я ей сказала — благодарю вас. Из меня инвалида сделают.

Н.: А вам уже официально сказали?..

Муся: Нет, пока неофициально.

Н.: Так, может быть, вы преждевременно волнуетесь?..

Н. реагирует на разговор, лично ее не затрагивающий, этикетными репликами. Когда собеседник прямо вам жалуется — необходимо выразить некоторый интерес, сочувствие.

— Совсем не преждевременно. Уже был разговор с начальником. Знаете, как он говорит . . . Я пошлю того, кого мне укажет главный. Это же чепуха. Как будто главный знает, кого здесь посылать. Он может требовать —

пошлите столько-то человек. Здоровые бабы, все же имеют освобождение. Все по благу...

Уинкот (указывая на подавальщицу): Муся, дай ей талон...

Муся: Здоровые девушки будут тут работать официантками...

И.: Надо бы уйти, пока опять не началось (подразумевается обстрел).

Уинкот: Надоело это.

Н.: Надоело, главное, то, что является причиной этого.

Н. (продолжая разговор): Нет, я сейчас живу дома и убеждаюсь, что для меня это очень нехорошо.

И.: А я сейчас очень наслаждаюсь одиночеством. Много думаю.

— Вероятно, вы думаете об отвлеченном. А я когда остаюсь одна, начинаю думать: у меня мысли мемуарного характера. Это вредно.

— Нет, я сейчас подвожу итоги.

(Кто-то из сидящих за столом): Вам должно быть сейчас очень трудно...

И.: Мне не так трудно, так как у меня жизнь всегда была суровая. Очень суровая жизнь. У меня на руках всегда были больные.

(Рассказывает о том, как родители оба много лет болели. Отец лежал в параличе. Приходилось очень много работать. Никуда нельзя было уехать отдохнуть. Только последние два года уезжала отдыхать.)

Для собеседниц разговор очень соблазнителен. Ведь это разговор прямо о себе и не о чем-нибудь внешнем, а прямо о душевных переживаниях. При всеобщей поглощенности собственными делами это не так легко организовать. Легче сейчас заставить собеседника выслушать о том, как вы распределяете свою пищу (даже вовсе не трудно, так как имеет общезначимый интерес), чем о том, как вы переносите одиночество.

Обе высказываются с увлечением, но по-разному. Н. — это гуманитарная интеллигенция двадцатых годов, которая так и застряла на литературности и эстетизме. У нее есть свои словесные запреты и эвфемизмы, недоговаривания и подразумевания. «Вредно» — классический эвфемизм душевных страданий, утаенных от чужих глаз, скрываемых, хотя истинная цель высказывания — довести их до сведения собеседника. Вредно — страдание как бы низводится до клинического факта. Это пушкинское ироническое:

Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость.

«Мысли мемуарного характера» — это тоже сдвиг, разрушающий серьезность контекста, и он тоже должен служить целомудренной маскировке душевных состояний.

У И. речевые принципы как раз противоположные. Не столько по возрасту, сколько по типу сознания, она принадлежит к старой демократической интеллигенции. Этот тип очень устойчиво сохранялся в педагогической среде. Словоупотребление И. несокрушимо серьезно. Она не испытывает потребности в заменителях. Одиночество, много думаю, подвожу итоги, суровая жизнь — для нее это значительные слова, выражение больших жизненных ценностей, которых она не стесняется, потому что уважает себя и свой социальный пласт. Это мышление оперирует устойчивыми истинами, которые не должны меняться от изменения ситуации.

Нигилистический человек может написать об историческом деятеле, что у него была «суровая жизнь», но по отношению к себе самому у него на это не хватит почтительности. По отношению к себе и в особенности к своим бедствиям он обязательно сохраняет оттенок насмешки. Потому что только эта насмешка обеспечивает ему некоторую свободу. Возможность применения слов определяется для него контекстом. Между тем, одно из характернейших свойств словоупотребления старой демократической интеллигенции — это отсутствие чувства контекста. Во всех случаях независимые и на все случаи годные формулировки свободно переносились из одного ряда в другой. Например, из специального, научного в бытовой, разговорный. А нам это было смешно.

Сидящий за соседним столиком обращается к Уинкоту.

— Есть у вас закурить что-нибудь?

— Только эрзац.

— Хоть эрзац. Я не успел получить. Говорят, табак будет. Они уже получили с базы.

Н.: Говорят...

И.: Я знаю человека, который продает табак.

Уинкот (свертывая самокрутку): Этот эрзац просто листья.

Муся: Его из всяких листьев можно делать. Я так видела в нем просто целые листья. Так и кладут.

О.: Например, целый пальмовый лист.

Сидящий за соседним столиком (закуривая): Его теперь не дают.

О.: Он запрещен. Разрешите вам сообщить. Он оказался вредным. Его совершенно запретили.

Н.: Тем не менее, когда его продают, на него набрасываются.

О.: Сколько же он стоит? Наверное, сейчас дешево.

И.: А табак сколько? Двести?

Н.: Триста. Такой целый пакетик.

О.: Пакетики разные бывают. Какой же пакетик?

Люди отчасти обмениваются информацией, отчасти подхватывают автоматически реплику собеседника, отчасти уступают неодолимой социальной потребности закреплять словом свои впечатления, наблюдения, соображения. Даже Муся, на мгновение отвлекаясь от своей беды, сообщает наблюдение над тем, что в эрзац кладут целые листы.

В то же время разговор о табаке и эрзаце имеет свои скрытые личные смыслы. Так, О. на работе глупейшим образом дал украсть у себя из ящика пакет эрзаца. И расстроился. Теперь он в утешение ищет подтверждения тому, что эрзац вреден, обесценен и т. п. (того же порядка и шутка насчет пальмового листа в эрзаце). Кроме того, он хочет продать часть табака, но не знает, как это сделать. Н. и И. не курят и продают свой табак. Все трое скрывают свои коммерческие замыслы. Поэтому их реплики о цене табака строятся обобщенно и безлично. Но практическую направленность этих замечаний выдает самое их спонтанное возникновение из разговора. Ведь курильщики, потребляющие все, что получают, подобный разговор не начинают и не поддерживают.

Слово «эрзац» наводит Уинкота на тему страны, в которой он жил и о которой любит рассказывать.

Уинкот — человек с биографией, выдавшей виды. У него мужской интерес к технике, к политике, о которой можно рассуждать, к жизненным фактам, которые позволяют завладеть вниманием слушателей. При этом он все же европейский обыватель, и ему хочется рассказать, как он устроивался и обростал, так как он этого вовсе не стыдится, как стыдится русский интеллигент.

Уинкот: Эрзац. Классическая страна эрзацев — Япония.

Начинается монологический рассказ. В Японии — всё эрзацы. Японцы сами не владеют техникой. Их армию создали иностранные офицеры. Рассказывается анекдот о двух военных кораблях, заказанных в Англии вместе с чертежами. Получив первый ящик, отказались от второго

и сами построили его по чертежам. И он немедленно затонул. Оказывается, англичане, предвидя такой трюк, дали неверные чертежи.

Н. короткими репликами поддерживает рассказ. В удобный момент она вклинивается с репликой из своей эстетической сферы.

— Но их искусство, поэзия, живопись. Впрочем, оно повторяет прежнее.

Уинкот переходит к наиболее значительной для него части рассказа. Некоторые вещи они хорошо делают — посуду, шелковые изделия. Подробно рассказывается, какой он там купил сервиз, как он его покупал — все это не лишено познавательного интереса, так как происходит иначе, чем у нас; рассказывает, как сервиз прислали к нему домой. Потом он купил и тоже послал домой шаль. Описывается бахрома, вышивка (в углу огромная белая роза), сочетание цветов. Шаль оказалась такая большая, что целиком покрыла двуспальную кровать его матери. Он вспоминает именно ту шаль, которую купил, хотя видел, надо думать, и другие, не менее замечательные. Потом он купил халат с драконами на спине. Описание драконов.

Когда история личных покупок исчерпана, он варьирует тему, не покидая ее.

— А китайцы отличные вещи делают из дерева. Но это китайцы. (В назидание профанам, не отличающим китайской работы от японской.) Подробное описание непостижимым образом сделанных из одного куска разных шариков, из которых меньший заключен в большем...

Входит Болдырев (востоковед).

Н. (Болдыреву, прерывая малоинтересный для нее рассказ Уинкота про китайские шарики): А мы тут как раз ведем экзотические разговоры.

Это светский прием. Тема поворачивается лицом к вновь пришедшему. Показано знание его интересов. Внимание к нему тем самым. Блокадным людям приятно сознавать, что они сохранили или восстановили в себе способность к подобным функциям речи.

Уинкот обычно спрашивает: «Что, кончилась воздушная тревога?»

Это сочетание может встретиться только у доблокадного человека или у иностранца. Всякий русский и ленинградец — независимо от культурного уровня непременно скажет просто тревога (обозначение более интимное, более психологичное и сохранявшее только самую суть).

Речь Уинкота наивна — как речь всякого человека (в частности, иностранца), не усвоившего аббревиатур, принятых в таком-то кругу. Это человек не на уровне данной речевой среды, для которой определенные понятия являются уже пройденным этапом. Если, паче чаяния, кто-нибудь вам скажет — я был в кинематографе (или того лучше — в синематографе), вместо кино, то вы сразу поймете, что это ископаемая личность, которая не знает, чем Чаплин отличается от Макса Линдера. Система словесных пропусков — она может дойти до виртуозности — является (наряду с условностью) принадлежностью кастового, корпоративного словоупотребления, особенно у проникнутых сознанием собственного превосходства над прочими людьми. Оно свойственно таким скептикам, которые, хотя и любят слова, но не верят словам, т. е. не верят их адекватности реалиям. Они полагают, что многие жизненные явления в качестве слов призрачны, и недоступны — в качестве действительности. В разговоре их можно опускать — с таким же успехом.

Сочетание Уинкота не ленинградское, как не по-ленинградски сказать «Невский проспект» вместо «Невский». Для ленинградца это тупо, для иногороднего вполне допустимо. Он может не ощущать особого значения этой улицы, тем самым особой семантики ее названия. Тогда как сказать — Лермонтовский проспект, Суворовский проспект — вполне естественно.

Невский проспект — это сочетание вроде А. С. Пушкин. Для культурного русского человека слово Пушкин (если только это не Василий Львович), не терпит никаких уточнений.

Уинкоты уходят, остается И., Н. и другие. И. продолжает развертывать свою тему. Важнее всего для И., что в данной ситуации она живет полной жизнью. Делаются попытки организовать что-то научное в Доме писателя — она первая читает доклад. Какие-то остатки литературоведов собираются в Доме ученых — она идет на первое же заседание. Кто-то сделал доклад о стихотворении Лермонтова — под влиянием ли оно написано Байрона или не под влиянием? Он очень остроумно построил начало...

В ней такая потребность реализовать в слове эту борьбу с дистрофическим небытием, что она за едой, без всякой мотивировки, начинает:

— Я сейчас много работаю. Собираю материал... Очень трудно сейчас с книгами...

В том же плане и так же немотивированно говорится о служебной работе в Публичной библиотеке.

— Я сейчас работой очень довольна. Мне поручают доклады и библиографию по специальности.

Удивительно. Мы получаем сейчас массу библиографических запросов из разных городов. Даже Москва присылает нам запросы. Можно подумать, что у них своих материалов нет.

В словосочетаниях «Мы получаем, к нам поступают» мы имеем особый эмоциональный эффект (как у влюбленных).

К столику подсаживается М. из Публичной библиотеки. Женщина того же типа, но попроще. И. ее наставляет. М. беспокоит вопрос, получила ли И., как кандидат, рабочую карточку?

— Да.

И тема ученых степеней сразу же набирает силу.

— О докторской диссертации сейчас еще не приходится думать. Конечно, я все время подбираю материал. Я хочу продолжать в плане моей кандидатской работы. Получается цельное построение.

М.: Х. собирается защищать кандидатскую...

И.: Х.? Она еще не начала ее писать. И вообще, друг мой, не всякий человек может это сделать. Для этого недостаточно быть хорошим общественным работником и так далее. Она очень достойный человек, но не в научном плане. Вот Г. напишет. За нее я спокойна.

М.: Да, она серьезный работник. Почему, собственно, эти работы по библиотековедению дают степень педагогических наук?

— История народного образования. Так Наркомпрос считает. Моя-то работа, естественно, по недоразумению считалась педагогической. Но у меня было особое положение. Томашевский на защите так и сказал: «При чем тут, собственно, педагогика?» Но я и по педагогике много писала.

И. неприятно, что она не получила квалификацию литературоведа. Кандидат педагогических наук — это неполноценно. Впрочем, по авторитетному свидетельству Томашевского, это недоразумение. С другой стороны, И., как интеллигентка старого образца, уважает педагогические науки. И как бы принося извинения педагогике, которую она только что в глубине своих помыслов оскорбила, И. тут же признает свою принадлежность к этой почетной сфере.

Появляется переводчица Ч. в полувоенном виде, расплывшая до потери лица, как это бывает с людьми после

истощения. Ч. осознает себя культурной силой (даже с оттенком утонченности), сознательно поставленной на службу сегодняшнему дню. Она из нашедших свою реализацию. Прежде незаметный, она теперь весомый элемент в писательской организации и в других.

Разговор вокруг поездки на огород, в подсобное хозяйство. Сегодня несколько человек должны ехать. На вокзале на днях произошел несчастный случай. Поезд отправляется поэтому с предпоследней станции.

И.: Говорят, теперь так все время будет. Ведь вы знаете, что там было на днях. Людей лопатами собирали. Говорят, поезд так и не будет доходить до конца, пока идут эти обстрелы.

— Так пока они идут, лучше не ездить.

— Невозможно. Меня наконец отпустили сегодня из библиотеки. Это так трудно. Надо уж ехать.

Ч.: Я тоже, если не поеду сегодня, тогда уже могу только восьмого.

И.: Мы ведь в библиотеке теперь помимо всего завалены запросами с фронта. Страшно интересно. Вы не можете себе представить, о чем только пишут. Пришлите папки, помогите укомплектовать библиотечку, расскажите о Горьком. Есть просто трогательные письма. Мы с М. отвечаем на литературные запросы. Масса работы. Я вообще думаю, что мне здесь столовую придется бросить и столоваться где-нибудь поближе. Может быть, в Доме ученых...

— Скажите, что такое сейчас Дом ученых? Вы там состоите?

— Членом Дома ученых я не состою. Но я состою в Литературной секции. И я там актив. Это сейчас все-таки единственное объединение.

— А кто там бывает в секции. Ну, Спиридонов, я знаю. А еще кто?

— Бывает такой Александров из университета... (Замолкает.)

Ч.: Не знаю, кто еще едет. Мы вдвоем не найдем дорогу.

— Дорога там очень простая. Трудно сбиться.

И.: Я не знаю, как у меня там будет с едой. У меня нет масленных талонов. У меня есть 20 грамм жира с собой. Я могу их предьявить.

— Чего ради? Вас никто не обязывает есть кашу с маслом.

Ч.: У меня вообще уже нет никаких талонов.

Голос из-за соседнего стола: Что же вы там будете есть?

Ч.: Траву. Траву буду есть. Меньше всего меня это беспокоит. Мне вообще полезно сейчас дня три не поесть.

— Ох, знаете, я тоже не знаю, что с собой делать. Толстею.

И.: Я с собой английскую книжку взяла (у них кружок изучения английского языка под руководством Ч.). Я теперь никуда без английской книжки.

Ч.: Очень хорошо. Я преподаю английский в одном военно-морском заведении. Мы там языком занимались. А потом они сами перетащили меня на литературу, на историю. Получается очень интересно. Я хочу у нас тоже так сделать. Например, взять гербы городов. Почему возник такой-то герб...

И.: Очень интересно.

Ч.: Такая настоящая старая Англия...

И.: Мы там втроем с Наташей возьмем себе грядку вместе, чтобы работать и разговаривать по-английски.

— Товарищи, вы подождите, может быть, будет еще машина сегодня.

И.: Это было бы хорошо и в смысле большей безопасности. Только, если ее ждать, можно пропустить поезд.

— Нет, это все рассчитано.

И. бывает у знаменитых людей. Бывает на всех литературных и т. п. вечерах. Интенсивно переживает свое участие в культурной жизни и испытывает потребность непрерывно об этом говорить. Занятая всем этим, на обстрелы не реагирует.

— Почему вы не были на Пушкинской квартире? Исключительно хороший был вечер. Вишневский так это хорошо повернул: умирающий Пушкин из последних сил стреляет в врага. Я помню, в Москве у Всеволода Иванова обедала и как раз про какую-то книгу зашел разговор. Мне стало очень стыдно, что я ее не читала. Я сказала — мне очень стыдно, но я не читала. Помните, в институте мы привыкли стыдиться. Как вы этого не читали? Да что вы! А Всеволод Иванов мне сказал: «Чего вы стесняетесь. Бросьте, пожалуйста. Не надо этого стесняться. Мы все очень заняты. Мы не можем читать все книги».

— Правильно. Конечно.

И.: Вы вчера не были здесь на Лермонтовском проспекте? Такой ужас. Ну, Мануйлов, конечно, сделал доклад содержательный. Но после такого доклада это чтение! Единственный Донат Матвеевич Лузанов читал довольно хорошо. Но потом эта девушка! «И вот показалась голова!» И при этом делает такой жест (широко расставляет руки). В

белом платье с оборочками, и вот такой жест. «И вот показалась голова . . .»

— Зачем же это нас угощают такими концертами?

Ч.: Вообще было очень смешно. Я ведь «Демона» сама наизусть знаю, большими кусками. Она вдруг посередине забыла. У Лермонтова: «Где страсти мелкой жить». Она читает «Где страсти мелкой . . .» Потом забыла и повторяет «мелкой только жить». И вышло — Где страсти мелкой, мелкой . . .

— Надо сказать, чтобы нам больше таких вечеров не устраивали. Время каждому сейчас так дорого.

И.: Вот, например, у нас в Публичной был очень славный вечер памяти Маяковского. Был дельный доклад. Очень скромный. Но докладчица цитировала интересную книгу, которую я не знала.

— Чей доклад?

И.: Одна наша сотрудница. Молодая. Как она? Забыла. Вы ее не знаете. Она широких задач себе не ставила. Но цитировалась очень интересная книга. Я ее не знала. Она вышла в Саратове. «Маяковский в боях». Там собраны разные факты о Маяковском в этой войне. Например, лозунги из Маяковского, вышитые на знаменах. Интерес к Маяковскому на фронте. Например, об одном командире, очень тяжело раненном. Он совсем умирал . . . Ему читали детские стихи Маяковского. И как он заинтересовался. Начал понимать Маяковского.

— Интересно. А здесь мне и доклад не понравился. Здесь он опять проводил параллели между Печориным и Онегиным. Я сама преподавала литературу в школе. Я знаю, как проводить параллели.

И.: Так ведь писатели не ходят. Мануйлов говорит, когда я вижу, кто сидит в зале, я уж так и читаю . . . Я сама пошла, потому что она (культработник) пристала — пойдите, пойдите, никого нет из писателей. — Сколько мы потеряли — три часа. Я уговаривала накануне Веру Михайловну пойти. У нее вчера очень болел зуб. Я ей позвонила и говорю — отчего Вы не пришли, Вера Михайловна? Она спрашивает — хорошо было? Я ей говорю: Очень хорошо! Чудесно! (Сообщила таким образом о своем знакомстве с Верой Инбер.)

— Надо поставить вопрос о том, чтобы нам таких вечеров не устраивали. Я поговорю с Петром Петровичем. Если устраивать что-нибудь, надо к этому как следует подготовиться. А то получается хождение из-под палки.

Ч.: Надо устраивать так, чтобы это было достойно Дома писателей.

И.: Правильно. Вот смогли же у нас в библиотеке провести вечер Маяковского. Надо подготовиться. Скоро, например, Тургеневские дни. Надо, чтобы каждый подумал, что он может.

Ч.: Совершенно верно. Я, например, могла бы дать кое-что о его переводах.

И.: Или по моей линии. Совершенно неизвестные материалы — Тургенев и детская литература. Он очень интересовался, писал предисловия, участвовал в журналах...

— Нет, довольно нам таких вечеров. Пусть их для широких масс устраивают. Для комсомольцев. Но не для нас. Сколько времени потеряли.

— Надо было уйти. Я ушла. Ну их.

— Зачем же такую дрянь для комсомольцев устраивать? Ее ни для кого не надо устраивать.

— Ну конечно. Разве комсомольцев теперь удовлетворит такое чтение. Вы думаете, они не поймут. Прекрасно все понимают. Но для нас зачем это устраивать? Сейчас война, осажденный Ленинград, нам надо работать. Я вчера должна была статью для «Звезды» кончить. Вместо этого я сидела сегодня с самого утра. И все равно задержу на один день. Я даже считаю, что огород сейчас важнее. Я знаю, что следующий номер «Пропаганды и агитации» будет весь посвящен этим урожаям, посевам.

— Мне тоже сейчас совершенно не хочется ходить на какие-то собрания, слушать доклады. Зимой — другое дело, зимой — хотелось. Сейчас хочется самой работать.

К столику, за которым сидит Н., присаживается почвенный писатель С.

С.: Сколько же все-таки грамм в этой каше должно быть?

Н.: Не знаю. Граммами не интересуюсь. Мне это совершенно безразлично. За исключением тех случаев, когда я дежурю.

— Но вы дежурите.

— В данный момент я не дежурю.

— Ну в следующий раз с вырезом не возьму этот суп. Отвратительный суп.

— Как? Очень хороший суп. И большая редкость. Он же бульон на мясном отваре.

— Мало ли что — на мясном отваре. Отвратительный суп. Если вы этого не понимаете, значит, вы никогда хорошего супа не ели.

— Я не знаю...

— Послушайте, засыпка 40 грамм — это ложка должна стоять. Ложку не повернуть — понимаете. А вы получаете воду. Нам дают великолепный паек. Великолепный. 175 крупы в день. Это можно жить и быть сытым. Разве претензии какие-нибудь к обеду? Нам дают прекрасный паек. Претензии только за счет того, что они из полноценных продуктов готовят вам такой суп. Они мазурничают. Это называется — просто мазурничают.

— После того, как нас только что призывали жить для светлого будущего — и вдруг столь материальный разговор.

— Вы глупости говорите. Если вы не понимаете...

— Вы не понимаете иронии...

— Какая ирония! Я ничего не говорю. Допускаю. Пускай они берут себе треть нашего пайка. Надо же им сожрать еще тарелку супа. Но две трети давайте нам. Две трети — на стол. А где они? Тут нужен серьезный контроль, а не то, что установили какие-то дурацкие дежурства.

— Поговорите с Н. С.

— А чего мне с ней говорить? К ней ходить. Что она за принцесса?..

— Она же столовая комиссия...

— Ну и прекрасно. Она женщина взрослая. Сама должна знать, что из чего можно сделать. Вот вам, пожалуйста, каша. Разве здесь 250 грамм? Абсурд. Она мне ее перевесит. (Встает с тарелкой.)

— Надо понимать, что важно для жизни.

— Так то жизнь. А жизни нет; есть постепенное умирание.

— Никакого нет умирания. 175 грамм крупы в день на каждого — прекрасный паек.

Н. (соседу): Он интересуется только граммами. Все-таки это ужасно, особенно когда мужчина... В конце концов все мы сейчас очень голодные. Но нельзя же так...

Сосед: Нам с вами еще вообще кашу не принесли, а мы терпим.

(Кашу приносят.)

Н.: Если бы эту кашу дали С., он бы несомненно пошел ее перевешивать. (Быстро ест.) После высокой идеологии сразу плюхаешься на дно столовой. (Ест.) Хлеба нет, так приходится так есть. Пока у меня был, я добавляла яичный порошок.

— Вам это кажется более вкусным?

— Мне все кажется более вкусным. Мне кажется вкусным все, что можно положить в рот. Я всегда хочу есть. И чем больше ешь, тем больше хочется.

(С. возвращается с тарелкой. За ним идет заведующая столовой.)

— Ну как, перевесили?

С.: Добавили незаметно. Долго ли подцепить ложкой. И говорит — ах, видите, перетягивает. Разве ее столько было.

Заведующая: Не говорите глупости.

С.: Я глупости не говорю. Спросите всех. Здесь еще до вас было несколько случаев...

Заведующая: Меня не касается то, что было до меня. Никто вам не добавлял.

С.: Это очень просто делается. Подцепила незаметно ложку. Я еще кофе выпью. Я сегодня получил эту селедку, которую давали. Поел селедку с уксусом.

— Какая селедка?

— Астраханская. Ничего. Хороший засол. Но тот хранитель, который ее потом сохранял, допустил ржавчине проесть кожу. Дальше кожи ржавчина не пошла, потому что засол хороший. Я когда засаливал рыбу, всегда очень следил, чтобы не было ржавчины. У меня еще сейчас есть остатки бочоночка — к водке. А вот свежую селедку мало кто ел, потому что она сразу засаливается. Объединение. Ее, знаете как, нужно еще живую поджаривать.

Н.: Главное, это сегодня моя последняя еда.

— А хлеб на вечер?

— О, хлеб! Я уже забыла, как выглядит сегодняшний хлеб. Мне всегда хочется есть. И выходит так: до часу я не ем, потом я набрасываюсь, съедаю весь хлеб. В час я обедаю без выреза. В пять я обедаю с вырезом. И все. А вечером, вечером, если вороне бог послал кусочек сыра, так есть сыр. Но это почти никогда не бывает.

— Сегодня выдача. Вы можете вечером есть шоколад или конфеты.

— У меня 200 грамм уже съедено, а 100 раздарено — все.

— Зачем же вы дарите сладкое? Странное дело.

— Так. Уж такая традиция. Со мной в день выдачи очень выгодно иметь дело.

Соседка по столу, вмешиваясь в разговор: Знаете, я бы на вашем месте это не делала. Вы столько об этом говорите, что теряется всякое доброе дело.

И. (на миг смутилась, но нашлась): А это не доброе дело. Я совсем не добра нисколько.

— А что же?

— Это просто глупость. Если бы это было доброе дело, я бы об этом не говорила. Нельзя говорить о своих достоинствах, можно только о недостатках. Это мой недостаток, я говорю о своем недостатке.

С.: Жулье, жулье. У меня был приятель покойный, он когда входил в ресторан, говорил — ну жулье. Жуликов он называл жулье . . .

— Каждый раз они подают весь обед сразу, так что все холоднее. А потом кофе надо дожидаться час.

С.: Нет, подавальщица эта хорошая. И вторая тоже хорошая.

Подавальщицы здесь хорошие. А вот эту раздатчицу, повариху я бы выгнал немедленно.

— Нет, вы неправильно поступаете. Хлеб нельзя брать сразу.

И.: Я не могу делить хлеб.

— Так не надо брать сразу. Конечно, если его взять, то дело плохо. Но надо брать только 250. Потом знаете, что я делаю? Вы получаете соевое молоко. В горячее молоко крошить хлеба. Такая тюря. Я это очень люблю. Вот вам и ужин.

С.: Ну, это ерунда какая-то.

И.: Я уже забыла вкус молока. Я все время расплачиваюсь. У меня теперь есть поставщица дров. Она с меня берет за крохотную вязаночку по два литра.

С.: Никуда не годится. Пойдите на рынок — там литр его стоит 200 грамм!

— 200! — мне говорили, что литр рублей 30.

— Я слыхала — 40.

— Это около заводов в дни молочной выдачи люди продают по 30. А вообще на 200 грамм вы можете купить много дров. Значит, за литр вы получите две вязаночки.

И.: Я молоко продавать не собираюсь. Просто у нее трое детей. Она в молоке заинтересована. Она мне говорит — столько-то . . .

С.: А на 200 грамм вы купите больше. Я вам говорю это, потому что у вас во всем незнайство какое-то.

За столиком критик разговаривает с очень нервной писательницей.

— Разве сегодня есть булочки?

Только что в кассе ему сказали, что нет, а теперь он видит их на тарелке у соседки. Вопрос прежде всего практический — нельзя ли все же получить? Сверх того в вопросе зашифровано беспокойство — не обошли ли его причитающимся.

— Нет, это вчерашние. У них оставалось еще шесть порций. Они предлагали.

Реплика, предназначенная отстранить подозрения в незаконном получении дополнительной еды.

— Они очень плохие. Я их вчера брал.

— Отвратительные. Просто отвратительные. Они горькие.

Назначение первой реплики — обесценить недоставшееся (по формуле «зелен виноград»). Назначение второй — обесценить доставшееся — жалоба на ущемление интересов (обмеривают! обвешивают!).

(Едят.)

— Я так травмирована этой стрельбой. В этом доме... все время, все время... (Едят.) Говорили, что какие-то другие, новые, дополнительные будут — ничего подобного.

Первое из этих высказываний — непосредственная разрядка нервного возбуждения. Во втором аффект зависти опосредствован беспокойством о принципах распределения предлагающихся новых благ. Есть и практическая цель — узнать на этот счет что-нибудь у собеседника.

Собеседник откликается тотчас же. Он в состоянии информировать, а информирующий всегда приобретает значительность. Но разговор на эту тему имеет для него и эмоциональный смысл, связанный с его собственными надеждами и еще неясными расчетами на новую систему распределения.

Тут в разговор вмешивается старая художница, прикрепленная к столовой, один из персонажей невышедшего сборника «Героические женщины Ленинграда». Художница не пришла в себя от истощения. У нее все еще зимняя сосредоточенность на еде. Сейчас это уже ниже нормы и вызывает у окружающих чувство превосходства. Для нее карточки еще не стали вопросом престижа; они все еще вопрос сытости. Она говорит об этом откровенно, потому что психологически она еще в той стадии, когда все говорили об этом откровенно. Она понимает, что теперь так уже нельзя, унижительно, что в этой области уже появилась маскировка и переключение физиологических ценностей в социальные (качество снабжения как признак социального признания).

Нервная писательница: Вы что же хотите получить литературную карточку?

Вопрос задан грубо. Задавшая его раздражена посягательством лица низшего разряда — не член Союза — на то, на что она сама не надеется, хотя считает, что имеет нравственное право.

Художница сначала растеряна от прямоты вопроса; потом в свою очередь с прямою несытого человека: Я? да, я хотела бы получить...

(Откровенность в вопросе, где приличия уже требуют камуфляжа, все больше раздражает собеседницу.)

— Так ведь это только для самых главных. Не для нас. Скажите спасибо, что эти карточки дали.

В этой реплике и потребность унижить зарвавшуюся художницу, и зависть к «самым главным», и желание скрыть собственные тайные надежды. Оправляясь от дистрофии, она уже понемногу толстеет. И для нее в этом деле моральная сторона (социальное признание) важнее физической.

Художница: Градации. Не знаю, как с этими градациями будет. Я вот как раз отнесла в «Звезду» работу, так редактора все больны. Не могу добиться ответа. А вы говорите: градации.

В разговор вступает Ш.: Все это пока вообще испанские замки. Слава богу, что эти дали пока.

Ш. — честный труженик с хорошим профессиональным положением (популярный лектор). В СП занимает скромное место. Она утверждает свою здравую, трезвую позицию в противовес вздорным притязаниям («испанские замки»).

Художница (догадывается, что взяла не тот тон, какой надо): Ну, конечно, слава богу, что это дали. Очень хорошо.

А.: Вы знаете, прикрепленных к Союзу вообще отменяют.

Эта фраза — жестокость истерички. До сих пор выходило, что новые блага получают «самые главные», что она и художница в одном разряде — не получающих. А теперь вот оказывается, что художница — это разряд, который вообще не сегодня-завтра окажется за бортом всех привилегий. И претензии ее потому особенно неуместны.

Истинкт самозащиты подсказывает художнице, что надо прекратить разговор на эту тему. Лучше снова пожаловаться на то, что «Звезда» не дает ответа. У Ш. старая художница вызывает сочувствие. Она ей дает советы — обратиться в «Ленинград», который все же чаще выходит. Из сочувствия интересуется:

— А что вы написали?

— Написала воспоминания о Михайловском и о Горьком. — Но художница уже отвлечена от разговора тем, что ей приносят кашу и что каши мало. (К подавальщице): — Это разве три каши? Придется дома еще варить... Опять она кофе не в ту баночку мне налила.

Среди всех разговоров, в Неву, очень близко, бухает снаряд.

— Смотрите, товарищи, да здесь — столб!

Некоторые подбегают к огромным окнам посмотреть. Другие продолжают есть и разговаривать. Травмированная (по ее словам) страхом писательница, не обращая на происходящее никакого внимания, укладывает свои булочки.

Странное дело — ленинградские травмы и страхи не внушают доверия. Так не бояться. Настоящий страх то вытеснен другими заботами, то подавлен общей нормой поведения.

Чего только не говорят женщины, работающие в учреждениях. Одна говорит, что она не боится, потому что у нее дистрофическое равнодушие. Другая, напротив того, говорит, что она безумно боится, испытывает животный ужас, но когда при тревоге на нее кричат, чтобы она согласно приказу немедленно шла в подвал, она раздраженно отвечает, что невозможно дистрофику десять раз бегать вниз и вверх на шестой этаж. А третья говорит, что она безумно хочет жить и боится умереть, но что в подвале можно сидеть месяц, но нельзя сидеть два года, и поэтому она вечером ложится спать до утра.

Повторность, возобновляемость ситуаций атрофирует постепенно импульсы страха. И никто в этой столовой (если только не посыпятся стекла, не обвалится потолок, т. е. не изменится в корне ситуация), не станет кричать и метаться при виде упавшего рядом снаряда.

В этот момент они будут сохранять хладнокровие (так полагается), а жаловаться на травму будут потом. Человек не только скрывает страх, но может скрывать иногда и отсутствие страха, атрофию настоящего страха перед гибелью, который подменяется болезненным раздражением нервов. Поэтому объявляющие себя травмированными столь же мало принимают меры к самосохранению, как и нетравмированные. Самосохранение — это тщательность, пристальное внимание к таким подробностям поведения, на которых невозможно сосредоточивать волю месяцами, годами.

I

**ЗАПИСИ
40-Х ГОДОВ**

НЕУДАЧНИК

Конечно же это вполне подновогодняя тема для размышлений — итоги собственных неудач. И О. размышляет. У неудачников жизнь делает скачок от ребячества к старости. Зрелости у них нет. Незаметно для себя они выходят из фазы, когда все не началось, все еще впереди, и непосредственно входят в фазу, когда «уже поздно».

Кстати, психически уравновешенный человек с трудом и неохотой признает себя неудачником. Делая это признание, человек обычно вступает на путь юродства, самоуничтожения. От этого О. пока еще далек. Для него это признание сравнительно безопасно, потому что он ощущает свое неудачничество как внешнее и случайное, психологически для него не обязательное. Он ощущает, что может быть (конечно, может быть, а не наверное...) он внутренне человек творческой удачи, масштабов которой он, вероятно, никогда не узнает, потому что не дожидается времени, когда она выйдет наружу.

Но вместе с тем сейчас, на пятом десятке, нельзя не признать, что все, видимое извне — не удалось. И не удалось уже прочно, всерьез. Что это уже совершившийся факт. Что он уже вышел из периода, который можно было считать периодом трудной и неустроенной молодости, и прочно оказался в числе людей, состоящих при малых делах.

Последние два с половиной года перестроили многое. Был даже момент, когда казалось, что они изменили в корне проблематику удач и неудач. Мировые катастрофы вмешались в течение человеческих карьер, люди сместились со своих мест, нужное оказывалось ненужным. Люди, которым нечего (или мало) было что терять, испытывали даже своеобразную легкость среди смертельно тяжкого и страшного быта. Теперь им некуда было спешить с самыми трудными из своих дел, за промедление с которыми их в обычном быту неотступно мучила творческая совесть. Зависть бездействовала; они больше не чувствовали себя униженными, потому что чужие достижения рушились на глазах или теряли смысл. Казалось, что те, кто вернутся к жизни, вернутся минуя иерархию, слагавшуюся

по мелочам, свободные от груза своих неудач, а может быть и достижений, и многие еще со знаком выстоявших до конца и отстоявших страну.

По мере улучшения обстоятельств, все крепнет тяга к стабилизации. Все яснее, что всякий затянувшийся быт (даже быт с ежедневными артобстрелами) становится стабилизированным бытом. И люди, которым вначале казалось, что все снимается с якоря и несется, — теперь, напротив того, кажется, что все оседает на месте . . . И люди во что бы то ни стало, несмотря ни на что, даже против всякой очевидности — стремятся сделать свою жизнь обыденной.

Вместе с тем все яснее становится, что предпосылки общей жизни не изменились, вернее — изменяются в очень глубоком историческом смысле, пока еще не имеющем непосредственного отношения к быту. Продолжают развиваться потрясающие события, но люди уже знают развязку событий, и этого достаточно для того, чтобы события представлялись им временными; постоянное же представилось в том виде, в каком они его оставили или в каком оно их оставило. Все устремились опять к своему уровню. Все спешно разыскивают свои места в иерархии и боятся опоздать. Опять на очередь становятся задачи — творчества, труда, заработка и проч.; во всяком случае ясное предвиденье этих задач.

Все это и многое другое уже существует, в искаженном еще, конечно, виде, частью усложненным, частью упрощенном. И многие вопросы, которые казались ненужными, наивными в свете происходящего или снятыми и разрешенными происходящим, — пришли опять. Есть разговоры трехлетней давности, которые могут быть продолжены. Люди еще не знают о том, что они претерпели глубинные исторические сдвиги сознания, вероятно, не сразу узнают, а пока что спешат найти потерянное место. Во всяком случае для сорокалетнего человека это момент подходящий для подведения итогов своим неудачам и возможностям.

В сущности, все не удалось. В ранней молодости намечалась карьера, но сорвалась очень скоро и, вероятно, навсегда. У него нет социального положения, ни даже верного и достаточного заработка. Любовь обманывала всякий раз, как приходила. Вернее в последние годы уже не обманывала, потому что он всякий раз знает, чем это кончается. Классическая триада — слава, любовь, деньги — не удалась.

Он перебирает самые реальные из возможных человеческих бедствий — страх смерти, болезнь, унижение, раскаянье, нищета, одиночество, неосуществленность творческих возможностей, скука (пустота). Примеривает их к себе. Страх смерти, быть может, притупился в нем как аффект. Но он не побежден мыслью. Он беден, он одинок, вероятно, непоправимо одинок. Он нажил раскаянье, такое, что его приходится все время вытеснять, чтобы оно не растерзало душу. Он чувствует себя униженным, со своими полузадавленными, полузапрятанными возможностями и внешним положением мелкого профессионала. Признание нескольких человек («лучших людей») ... но ведь это признание неизвестно чего, потому что ни несколько человек, ни он сам не могут проверить масштаб его достижений. Такие вещи проверяются не на «лучших людях», а на людях просто. И даже эти несколько человек, знающих и понимающих и говорящих большие слова, все равно забывают об этом и занимаются своими делами, как если бы не было достижений О. Трудно помнить о невыключенном в социальный контекст, социально нереализованном. Трудно относиться к человеку согласно его познаваемой скрытой ценности, а не согласно его видимой ситуации. Мы помним о ценности (порой и забываем), но поведение произвольно и непосредственно ориентируется на ситуацию. По отношению к человеку, не закрепленному официальной иерархией, возникает моральная фамильярность. Трудно самому, без помощи социального аппарата, устанавливать дистанции и масштабы относительно своих знакомых. Знание и понимание недостаточно, если оно не поддержано внешними признаками. Ибо внешние признаки воспринимаются постоянно и произвольно регулируют поведение и отношение, тогда как на внутреннем понимании нужно специально сосредотачиваться. При самых лучших намерениях никто не может относиться к «неведомому избраннику» как относятся к общепризнанному. Поэтому пресловутая оценка избранных друзей — неполноценна и не может утешить самолюбие. Здесь количество переходит в качество.

Что касается скрытой творческой реализации — про себя, то это реализация трудная нездоровой трудностью, искаженная, уязвленная, неполноценная; главное, недоступная проверке, и поэтому отравленная недоверенностью. Это печальное творчество, не закаленное в столкновениях с современностью, не напряженное ожиданием славы или падения и всегдашней высокой торопливостью.

Его никто не ждет, его никуда не торопят. Поэтому оно отравлено убийственной для творчества формулой: «некуда спешить». И тщетно человек сам себе, сам для себя повторяет:

То ревность по дому,
Тревогою сердце снедая,
Твердит неотступно:
Что делаешь, — делай скорее.

Человеку может надоесть все, кроме творчества. Человеку надоедает любовь, слава, богатство, почести, роскошь, искусство, путешествия, друзья — решительно все. То есть все это при известных условиях может перестать быть целеустремленным, — но только не собственное творчество. Этого не бывает, как не бывает, чтобы человеку надоело спать или утолять голод и жажду. Человек может обжесточиться и испытать временное отвращение к пище, человек может переработаться и испытывать временное отвращение к умственному труду. Но целеустремление немедленно восстанавливается, поскольку творчество есть совершенно органическая, неотменяемая воля к личному действию, связанная с самой сущностью жизненного процесса. Утехи же самолюбия и проч. как раз принадлежат к надоедающим. Тут прежде всего нужно постоянное нарастание. Все достигнутое приедается очень быстро, кажется само собой разумеющимся, становится одной из тех привычек, которые оборачиваются страданием только с потерей привычного. Кроме того, в отличие от непосредственных, неотменяемых, хронических, так сказать, переживаний, которые дают человеку любовь и творчество, — радости самолюбия опосредствованы. Это то, о чем надо умышленно помнить. И потому иногда это все вдруг теряет реальность. куда-то отодвигается, оставляя за собой пустоту и вопрос — а к чему оно, собственно? А что это, собственно, и что с ним делать? А стоит ли оно усилий и жертв? Счастливая любовь, семья, творческая реализация могут быть предпочтены — и очень резонно — славе. Но при отсутствии всяких благ отсутствие благ самолюбия оказывается более всего. Отсутствие несбычайно напрягает эти вожделения. Здесь вожделенными представляются даже мелочи, даже то, что по достижении оказывается совершенно пресным. Страсти этого порядка сильнее и разрушительнее всего в своей негативной форме. Ибо в негативной форме они оборачиваются унижением, которое человек переносит

с трудом, о котором он помнит гораздо тверже и непривычнее, чем о собственной славе.

Один из жестоких конфликтов — это конфликт между творческой реализацией и реализацией житейской. Его переживают люди, в чьей жизни грубо перерезаны связи между творчеством и такими социальными категориями, как профессия, заработок, карьера. Они попадают в сеть противоречий. Они предаются упорно творчеству про себя, которое может никогда не пригодиться, может пригодиться через много лет, скажем, под конец их жизни, может пригодиться после их смерти, потомкам.

В первую возможность они не верят, она противоречит их интуиции, против нее восстает в них инстинкт самосохранения — ведь тогда чем была бы их жизнь?.. Но проверить социальную применимость своего творчества они бессильны, и оно отравлено этим бессилием. Вторая возможность их отчасти устраивает — я дождусь... докажу... увижу осуществление. Но что такое это осуществление в конце долгого пустынного пути? Не слишком ли поздно? Не слишком ли мало за десятки лет одиночества и обид? Быть может, это важнее сейчас, как цель, как надежда и обещание, нежели как реальность. Что это как реальность? — непристойная радость старика, играющего игрушками, которых его лишали в детстве... Или последняя, самая горькая из обид — на то, что вождеденнейшее благо пришло слишком поздно, когда нельзя им стереть целую жизнь унижения, когда нет ни воли, ни сил наслаждаться, когда не с кем его разделить (в счастье и в горе страшно на этой земле быть одному!..) Но сколь горше конец тех, кто не дожидается этой последней обиды.

Это третья возможность, которая возмущает и дразнит их эгоизм. Что им за дело до этого издевательского посмертного признания?.. И в то же время они хотят сделать вещи, которые остаются. Перспектива забвения оскорбляет их еще больше перспективы запоздалого признания. Они понимают, что, совершив все земное, можно спокойнее ожидать конца, хотя обосновать это не могут. Мысль об исчезновении неотделима для них от мысли — все пропадет, а если даже не пропадет, то останется недоделанным, и никто никогда не узнает того, что во мне было. Надо доделать и обеспечить сохранность. И мысль о случайностях, которым подвергаются сейчас эти единственные экземпляры, по меньшей мере столь же тревожна, как мысль о личной опасности. Эту логическую путаницу психологически можно распутать.

Третьей возможности сопротивляется эгоистический человек, и к ней тянется социальный человек, который, хотя бы в подавленном виде, живет в каждом творце. Творящий знает инстинктом, что он сопряжен с бесконечно продолжающейся общей жизнью, что в ней условие творчества и мерило его ценностей. Пусть он эгоист, но он эгоист, существующий на особых жестких условиях, вне которых творчество прекращается. Его трагедия не в том, что он выше общей жизни или противостоит общей жизни, — как думал о себе романтический человек, — но в том, что он от нее изолирован. Это тема Мандельштама.

Поздним вечером (но темно все равно с пяти часов), в комнате холодной и плотно зашторенной, в давящей тишине опустелого дома, под тупой стук отдаленной стрельбы, — О. думает об общей жизни упорно, с личным каким-то вожделением. — Нехорошо, плохо человеку быть одному. Странно человеку быть эгоистом. Если б только она, общая жизнь, захотела его взять, сообщить ему свою волю. Взять его таким, какой он есть, не обкорнанного, не урезанного, а со всем, что в нем есть, и что он не может отбросить. Он прославил бы ее, он говорил бы о ней и повторял бы людям: смотрите, как страшно быть эгоистом. Никогда прежде не могли понять, до чего это страшно. Но она не берет, даже сейчас, когда позволяет за себя умереть. Она позволяет за себя умереть, но в остальном остается непроницаемой. В остальном она не допускает, и потому умирать за нее особенно трудно. Этот процесс ничем не украшен.

О. дергается — не стыдно ли, что я сейчас размышляю о самолюбии? В сущности нет, потому что, я убедился, — люди до конца не расстаются со своими вкусами, вожделениями, страстями. Со своим психическим строем они расстаются, вероятно, только в крайний момент катастрофического изменения сознания. Он служит делу войны, но по большому счету его не позвали и не пропустили, и он возвращается — с соответствующими изменениями — к комплексу, от которого его оторвало два года назад.

Да, унижение . . . а одиночество, а раскаянье, а страх, а ежесекундная возможность новых физических и душевных страданий . . .

О. дергается. Он борется, почти физически борется с этим наплывом. В конце концов, он живет, и пока он живет, это следует делать как можно лучше; в возможных пределах. Он живет и пока обладает кое-чем из того, что миллионы людей считают сейчас величайшим благом. Ко-

нечно, этот негативный метод повышения ценности жизни — философски несостоятелен, но он имеет педагогическое значение, автопедагогическое: метод внушения себе правильного отношения к вещам.

Из мысленно составленного списка человеческих бедствий он кое от чего избавлен. Он относительно здоров, он не бездомен, у него есть работа, есть еда, тепло и свет, в количестве, достаточном для того, чтобы думать о других вещах. Он одинок, но у него есть женщина — возможность отвлечения. И удивительнее всего, что, несмотря на неудачу, или, скорее, благодаря неудаче, — у него есть высшее из доступных ему благ — время для творческой реализации, то есть для жизни. Это узловой пункт судьбы.

В эпохи более или менее отдаленные, творцы, которым не удавалась или не сразу удавалась социальная реализация творчества, — занимались в миру другим делом, отнюдь не имеющим к творчеству отношения. Спиноза шлифовал стекла, Руссо переписывал ноты (а впрочем состоял более на иждивении у дам), Толстой, в период острого расхождения с литературной средой, жил помещиком. Иннокентий Анненский был директором гимназии... Теперь все иначе. Нельзя быть рантье или помещиком, надо служить. Трудно предположить, чтобы деятель гуманитарной культуры мог быть в то же время квалифицированным техническим или военным специалистом. Всякая же другая работа ставит человека в слишком тяжелые и невыгодные условия по сравнению с работой академической, литературной, театральной и т. п. Поэтому слишком велик соблазн заниматься той же профессией, хотя бы на низших ее ступенях.

Если различать две основные формы гуманитарной деятельности — творчество и профессию, то можно различить и две основные разновидности — высшую и низшую. Тогда получается градация: 1) творчество (максимум) — в данных условиях нереализуемое; 2) творческая работа (специальные изыскания); 3) профессия в собственном смысле слова (высокое ремесло); 4) халтура. Есть еще, конечно, бесчисленное количество более мелких подразделений и оттенков, но это четыре главные ступени, определенные социально и психологически.

Каждый действующий в культурной области человек — простым или сложным образом соотносится с какой-либо из этих категорий. О. соотносится сложным образом, ибо он имеет отношение ко всем четырем, что ведет к величайшей путанице и повсюду обеспечивает неудачи.

Высшая ступень, как социальная деятельность, вообще исключена и закрыта. Ее носители так или иначе перестали существовать. Они существуют только под условием пребывания не на своем месте и терпимы в меру того, что действуют в других категориях.

Следующая инстанция уже допускаемая и даже отчасти нужная. Не по существу, а по форме. В числе других нужно иметь академические ценности. И неумолимый опыт показал, что обеспечиваются они все же только людьми с некоторыми данными, хотя бы данными знания. Дарования здесь тоже оказались одним из неотъемлемых условий. А с допущением дарования приходится допускать и кое-что из тех приемов мысли, которые ему присущи. Конечно, в соответствующем оформлении и при соответствующей готовности дарования учесть обстановку. Эти люди призваны обеспечивать форму и к функционированию допускаются те из них, которые попали в иерархическую рубрику, закрепляющую за данной ступенью признаки звания, должностей, отличий. Остальные, не попавшие в рубрику, здесь не нужны. Они могут на этой ступени появляться случайно, спорадически (например, в связи с каким-нибудь юбилеем и т.п.), но их выталкивает обратно. И человек, который в юбилейный период фигурировал на видном месте, — уже через несколько месяцев не может достать даже плохонькую работу.

Следующая ступень как бы требует профессионального качества, но на практике она мало отличается от четвертой и незаметно в нее переходит. Об этом свидетельствует состояние редакций, гуманитарных кафедр, вещания и проч. . . . Это не значит, что качество безразлично потребителям (только отчасти), главным образом оно безразлично администрации. На этой ступени разнорядной, потому что здесь работают разные люди. И добросовестные профессионалы, и люди творческого дела, которых сюда привел заработок, и принципиальные халтурщики, и просто не достигшие рабочей квалификации. Требования аппарата обычно удовлетворяют последние и предпоследние. Остальные уже, собственно, излишество, а всякое излишество чревато хлопотами и осложнениями. Остальные бывают желательны при наличии хорошей иерархической марки, способной украсить аппарат.

Все эти четыре категории при совмещении, разумеется, мешают друг другу. Первая мешает всему остальному (она вообще мешает всему в жизни), потому что заставляет мучительно цепляться за время, вызывает раздражение,

нетерпение, дурную торопливость или равнодушие к другим делам. В особенности творчество для себя мешает смежной области, области творческой работы (статус специалиста). Есть творческие люди, практические, большого напора, большого упрямства, которые, незная на талантливость, прокладывают себе пути. Но на этом надо сосредоточить все усилия. Когда же человек принадлежит к двум творческим сферам, из которых одна абсолютно не реализуема, другая реализуема с величайшим трудом, то для нее он не может отрывать от высшей для него сферы деятельности всю потребную душевную энергию. Если уж вонне ничего не выходит, то он пытается сосредоточиться на самом главном. Наконец, первая сфера мешает второй, разрушая преданное и страстное отношение к работе второго плана; окрашивает ее оттенком скепсиса и дилетантизма, который улавливают и не прощают.

Вторая сфера мешает высшей великим соблазном реализации. Не материальными благами и тщеславным успехом, какие могут дать обе низшие сферы, но своего рода творческой реализацией, да еще сопряженной с успехом и благами. Если при неудаче первая сфера вытесняет вторую, то при случайном успехе вторая мешает первой. Другим соблазном она мешает сфере профессиональной работы, соблазном незаконной реализации, протаскивания творческих элементов (хотя бы так), более сложных, более индивидуальных, чем нужно для хорошего прикладного труда.

Третья сфера мешает двум высшим, потому что забирает, крадет у них время. Хуже всего то, что она является подобием, пониженным действием: того же порядка, и потому бесцельно расходует, притупляет, изматывает ту же нервную и мозговую силу. Притом она мешает и самой низшей сфере излишне добропорядочными навыками в работе, которые замедляют темп и вообще лишают халтуру единственного ее смысла — выгоды.

Халтура, со своей стороны, мешает смежной профессиональной сфере обратным образом, — внося в работу недобросовестные навыки и приемы. Творческим сферам она мешает меньше, чем предыдущая ступень, потому что в ее пределах можно свободнее располагать временем; и потому, что это уже почти другая деятельность, почти уже не умственная, и потому менее разрушительная для нервов и мозга.

О., к несчастью, принадлежит ко всем четырем сферам, и потому во всех четырех терпит поражение. Он принадле-

жит к первой сфере своим большим замыслом. И он лишен не только внешней материализации, но и возможности проверить степень внутренней удачи. Сомнения в непечатаемом — неразрешимы.

О. принадлежит ко второй сфере своей работой историка, печатными трудами и проч. Но он не оформлен, не закреплен иерархически в этой сфере, и его принадлежность к ней понятна только настоящим специалистам, которые относятся к нему с уважением, но отчужденно. Человек талантливый, но что-то не то . . . Это они чувствуют, даже не зная почему.

Он принадлежит к третьей сфере своими попытками найти систематический заработок и определенное место на шкале. Литературная работа по заданиям, лекции и т. п. Но он никак не может отнестись к самой проблеме заработка всерьез, без легкомыслия человека, глядящего на эти дела сверху вниз. Главное, он неудачник здесь потому, что что бы ни ждало его в этой сфере, он все равно будет воспринимать все как неудачу и унижение.

Неблагополучие в третьей сфере само собой толкает его в четвертую. У него есть кое-какая халтурная хватка, но для преуспевания там этого недостаточно. Преуспевающими халтурщиками бывают либо люди, специально и исключительно этим занимающиеся, либо люди, прочно оформленные на высших иерархических ступенях, и которых поэтому встречают распростертыми объятиями и приготовленными деньгами, когда они спускаются в четвертую сферу, где их появление — марка, честь для администрации. О. ни то, ни другое. Он халтурщик испытанный, но случайный. Кроме того, ему лень, ему жалко времени. Главное, лень что-то придумывать. Но хуже всего, когда вдруг пробивается оттенок творческой заинтересованности, — тогда халтура сразу теряет свой смысл, материальный и психологический.

Хотя для этого быта, быта приближающейся к концу войны, — вообще характерны колебания и неясность, но многие и многие все же достаточно прочно опять прикрепились к той или иной сфере и адекватны своим местам. О. все время не помещается, и всегда вокруг него путаница. О его принадлежности к первой сфере не знает почти никто (в полной мере даже никто), и это не отражается на его бытовом положении. Но достаточно, если он путается между прочими тремя сферами. Конечно, лучше, утешительнее для самолюбия, быть вполне непризнанным, находящимся вне иерархии, но нынче с этим не проживешь. Чем

меньше признанности, тем больше неинтересного (для заработка) труда, и тем хуже он оплачивается. Приходится закреплять за собой все, что возможно. О. — не социальный нуль, за которым может таиться все что угодно, но нечто для самолюбия гораздо более обидное — маленькая социальная величина. У него есть формально иерархические признаки (кандидат и т. п.), которые дают ему право занимать место среди профессионалов (третья сфера). По этим признакам его снабжают и допускают к работе, но допускают, собственно, не его лично, а его иерархическую принадлежность; все же, что он привносит сверх того от своих личных возможностей, оказывается на данном уровне лишним. И его в любой момент заменяют другим человеком примерно той же принадлежности, заменяют с полным равнодушием, даже не без удовольствия, потому что помещающийся, целиком укладывающийся в свое место человек удобнее; нет в нем этой неуловимой летучести. Поэтому в нижних сферах у него постоянное ощущение своей необязательности. Ему приходится добиваться, искать, просить мелкой профессиональной работы. Вместе с тем он по временам оказывается нужным во второй сфере, по крайней мере то, с чем ему туда удастся прорваться, встречает хороший прием и оценку. Не раз ему удавалось перепрыгнуть, далеко оставить позади тот уровень, на котором ему с трудом дается каждый шаг. Так было с его книгой, которой он сразу миновал многие промежуточные инстанции, многих вышестоящих людей. Так бывало не раз с его устными и печатными выступлениями. О нем печатали рецензии, ему звонили и слали телеграммы большие журналы, заказывая юбилейные статьи. Но все это никак не закрепляется иерархически, и поэтому лишено связи, последовательности, преемственности; его выносит обратно. И репутация О., лишенная видимых признаков, никак не доходит до сознания тех, от кого зависит распределение функций и благ в низших сферах. «Руководящие товарищи», выступая на его докладе, называют его событием, а он в то же время не может добиться преподавательского места в захудалом вузе, места, которое уже гораздо ниже того незакрепленного, случайного, но все же положения, которое он занимает во второй сфере. Место — в лучшем случае принадлежит к третьей.

В связи с неким юбилеем, О. приглашают, по рекомендации крупного специалиста, наряду с этим специалистом, выступить по радио. Он попал в профессорскую рубрику. К таким редакторы приходят на дом. И редактор два раза

приезжает к нему для обсуждения. Проходит четыре года. За этот срок его статус отнюдь не набирает высоту. И через четыре года он к тому же редактору, в то же учреждение ходит за мелкой работой. Если редактор не забыл эпизода четырехлетней давности, то он может быть думать: то-то я был дурак... Не разобрался в чине.

1944

* * *

— Меня всегда поражает верность, точность вашего морального чувства. Должно быть вы — хороший человек.

— Хороший человек... Никоем образом. Впрочем, я мог бы быть хорошим человеком. Это не вышло. У меня в самом деле, с тех пор как я себя помню, было это, черт его знает откуда взявшееся, верное нравственное чувство; дар различения добра и зла. И все это пошло прахом. Я, видите ли, никогда не доверял интуиции, тем более своим интуициям. Я любил объяснять, и для себя лично я этого никогда не мог объяснить. Понимаете, я знал, что держу в руках должествование, что какой-то поступок безусловно правилен и вообще безусловно должен быть совершен. Но почему именно я должен его совершать — это как раз оставалось необъяснимым. Мне мешал не напор страстей, не соблазн... а вот эта непроясненность, необязательность. Но я в самом деле знал толк в добре. И, знаете, раз уж мы пошли на откровенные разговоры,— у меня по-настоящему была одна только эротическая мечта. Я хотел любить идеальную девушку. Девушку с ясным взглядом на жизнь, с честным и мужественным сердцем. Ну, конечно при этом у нее должна была быть тонкая талия и очень хорошие зубы. Зубам я всегда придавал большое значение. Так вот, если бы я встретил такую девушку, я действительно полез бы для нее в бутылку. К счастью я ничего подобного не встретил.

А человек я получился совсем не хороший. В моих возможностях все то зло, какое только способны породить — равнодушие, лень, эгоизм, распущенность. Я, конечно, мирный интеллигент и потому мало способен ко злу, проистекающему из природной жестокости, из сознательной и рассчитанной воли к насилию. Но, уверяю вас, равнодушие и распущенность — достаточно мощные механизмы зла. Достаточно сильные, чтобы незаметно подвести

человека к тихим домашним злодеяниям — незабываемым до конца. Блок где-то написал в дневнике, что есть такие вещи на совести, из-за которых человек уже никогда не сможет почувствовать себя молодым. Это одно из самых верных наблюдений над совестью. Я вас очень прошу — никогда не говорите мне, что я хороший человек и тому подобное. Это меня раздражает.

* * *

Очень многое сейчас у нас психологически окрашено тем, что в тылу большую часть социальных функций выполняют женщины. Женщины сравнительно редко руководят, но выполняют почти все. То есть в основном изменился самый состав, материал обыденной общественной жизни. Чтобы понять нашу тыловую и полужизнь, надо понять, учесть особенности женской реализации.

УТВЕРЖДЕНИЕ И ОТРИЦАНИЕ

Утверждение и отрицание бытия совершается в трех основных инстанциях — инстанция житейская, бытовая (окружающая действительность), инстанция историческая и инстанция высшего смысла жизни. Только утверждение в последней инстанции обеспечивает подлинный органический оптимизм. Мышление 20 века, за исключением последовательно социалистического, было склонно к отрицанию во всех трех инстанциях. Это был одновременно пессимизм солипсического мироощущения, исторического релятивизма и скепсиса и социальной неудовлетворенности. Нам, напротив того, было предписано утверждение во всех трех инстанциях. Для литературы, даже самой дрянной, это оказалось технически невозможным (не получается сюжет). Поэтому в первой инстанции, бытовой, писатели добиваются разрешения на крохотные отрицания, тут же покрываемые с избытком огромными утверждениями. Во второй и третьей инстанции у них, разумеется, все на местах.

Тверже всего утверждать я могу во второй инстанции, и особенно сейчас, в 43-м году, когда прояснились многие исторические, государственные, народные ценности. Когда многое зло, которому мы были подвержены, — оправдало себя. Когда столь многие блага, которых мы были лишены, — пошли прахом. Когда мы всеми нервами ощутили, куда гнет и куда заворачивает история. В первой инстанции мы скептики. В третьей инстанции мы поражены ужасной болезнью импрессионистического века — болезнью солипсизма. За нашим историческим сознанием, за нашим гражданским сознанием, за всем, что мы готовы утверждать и любить как социальные люди — все равно, в самой глубокой и тайной глубине все равно стоит непонимание и страх изолированной души, брошенной в непостижимый и враждебный хаос. Все равно нет моста и не будет, чтобы перебросить его между третьей инстанцией и нашим историческим поведением, нашим социальным действием. Все равно хаос придется нести до конца как сущность души и как ее болезнь. Это проклятое наследство, еще тютчевское наследство. А наше историческое чувст-

во — это живая связь с растущим веком, с веком, растущим нами, внутри нас.

С этой точки зрения литература может подразделяться на официозную, которая утверждает все от А до Z, тем самым утверждая абсолютную благодетельность власти, которой она служит; литературу декадентскую, которая отрицает социальное содержание, утверждая только переживание формы, то есть искусство; и ту настоящую литературу, которая утверждает в одних инстанциях и отрицает в других и даже диалектически утверждает и отрицает в пределах одной и той же инстанции.

Если нет в мире великих произведений, в которых ничто не отрицалось бы, то, возможно, нет и таких, в которых бы ничто не утверждалось. Одна из самых мрачных книг — это «Ярмарка тщеславия». Гуковский говорит, что из всех великих писателей мира — единственный оптимист Диккенс. Диккенс, в отличие от большинства настоящих писателей, начинает утверждать уже с первой инстанции. Конечно, это утверждение, сопряженное с отрицанием. Для Диккенса первая инстанция — это мир социального зла, но в то же время люди, многие из людей, населяющих этот мир, — хорошие. И они способны к полноте житейского счастья, оформляемого в первой инстанции. У Диккенса люди несчастны по собственной вине или по внешним причинам, а вовсе не в силу изначальной невозможности быть счастливым (эта органическая невозможность — основная тема «Ярмарки тщеславия»). Оптимизм в большом искусстве — явление редчайшее. В чем его особая прелесть.

Русской литературе действительно никогда не было свойственно сплошное, во всех инстанциях, отрицание (флоберовски-мопассановский безвыходный и в безвыходности почти успокоенный пессимизм). Пушкину, с его историчностью, естественно было утверждать во второй инстанции. «Онегин» — очень мрачная история. Но эта мрачность нарушена утверждением Татьяны, «милого идеала», национального идеала. И это не какая-нибудь абстрактно-славянофильская девица-красавица; это национальный идеал в конкретнейшем социально-историческом воплощении: уездная барышня и светская женщина, облеченная чистотой, силой, правдой и презирующая соблазн. Это вторая инстанция исторически-воплощенного народного духа, торжествующего над печальной эмпирикой невоплощаемой субъективной любви, над неразрешимыми противоречиями эгоистической личности. В «Медном всаднике» борьба двух инстанций — субъективно-бытовой и истори-

ческой и победа второй из них — проявлена и осознана до такой степени, что образует самый сюжет произведения. Третьей инстанции Пушкин касался редко; он подходил к ней через тему творчества и вдохновения, как бы считая, что ее законы не распространяются на бытие обыкновенного человека.

Гоголь с его страшной первой инстанцией все хотел и все не мог дойти до адекватного воплощения ценностей третьей инстанции. Лермонтов, одно из самых религиозных сознаний, прямо перенес борьбу утверждения с отрицанием в третью инстанцию, где демон у него борется с Богом. Для Достоевского все утверждения сосредоточены, конечно, в третьей инстанции. Толстой знал утверждения во всех трех. Он постиг вполне трагичность повседневной жизни, но в то же время создал святки и охоту у Ростовых в деревне, Наташу, пляшущую перед дядюшкой. Не знаю ничего равного этим страницам по силе жизнеутверждения. Толстой внушает своему читателю слепое доверие. Раз он так написал, значит действительно так бывает. Значит повседневная жизнь может быть безмерно прекрасна. В «Войне и мире» есть утверждение и во второй инстанции (могущество народного духа, единство народной воли) и, разумеется, в третьей. Установки Толстого менялись (хотя и не слишком резко), но в течение всей своей жизни он утверждал положительную силу любви и умиления, которые были для него истоком религиозного чувства.

Даже Чехов это еще не чистое отрицание. Чехов, казалось бы, отрицал во всех трех инстанциях. Но у него имелось некое противостоящее отрицаниям *подразумеваемое*. Все может измениться с изменением социального устройства, с установлением справедливости. Это та предпосылка эпохи, которая позволила Шпенглеру утверждать, что все люди 19 века — независимо от их убеждений — были социалистами.

И вот после всех этих сложнейших соотношений утверждения с отрицанием внутри и между инстанциями, — появилась литература с заданием утверждать неукоснительно. Это явление, в сущности, новое в мировой культуре. Совершенно напрасно сопоставлять его, скажем, с дидактикой 17 века. 17 век — это христианская культура, убежденная в том, что рай находится на небесах; а на земле все не может и не должно состоять благополучно. Если оды воспевали и утверждали, то на то и существовал одический жанр; это вовсе не предreshало концепцию бытия в целом.

Другое дело, когда рай или нечто к нему тяготеющее объявлен существующим на земле, и когда литература, как и все прочее, поставлена на службу абсолютной власти, взявшей на себя ответственность за насаждение этогорая. Так впервые возникло требование (невозможное на почве христианской культуры с ее понятиями греха, искупления, испытания...) безоговорочного утверждения во всех инстанциях, внутри всех инстанций.

Появился точный водораздел. Все, что принадлежит к данной системе, — хорошо и благотворно. Зло может проистекать только из враждебности или чуждости этой системе или из заблуждения и непонимания (это герой, который в конце исправляется). Этот участок отведен под отрицание. В пределах же системы все благополучно. Смерть благополучна — человек умер, но дело его живет; страдания благополучны — они закаляют человека; личные неудачи благополучны — человек преодолевает их общественно-полезным трудом и т. д. Люди же, принадлежащие к системе, не только благополучны, но и хороши. Если у них есть недостатки, то это лишь подразумеваемые достоинства, так сказать, производные достоинства. Если старые придирчивы и ворчливы, то потому, что они радеют об общем деле. Если женщины агрессивны, то потому, что они блюдают устои. Если общественный работник грубоват, то это функция его честности. Если молодежь легкомысленна, то потому, что в ней кипит сил избыток. Если ребята шалят, то потому, что это живые, бодрые ребята, не слизняки какие-нибудь. Кроме того, недостатки нужны для симуляции «живого человека», для того, чтобы стала технически возможной какая-нибудь характеристика, как временные неблагоприятия нужны для того, чтобы стал возможным хоть какой-то сюжет. Но, будьте покойны, и недостатки и неблагоприятия будут сняты до конца и сняты в первой же инстанции.

Неправда, что великая гуманитарная мысль всегда была пессимистична. Напротив того, она всегда мучительно и неуклонно добивалась утверждения в инстанциях исторической концепции и философского миропонимания, то есть в инстанциях, оперирующих сверхличными ценностями, превышающими единичную человеческую судьбу, которая мыслилась как трагическая. Шопенгауэр с его тотальным пессимизмом был новшеством, исключением и именно потому огромным соблазном для людей конца 19 века. Недаром учение Шопенгауэра годами оставалось незамеченным, пока в распадающемся субъективном сознании не

созрела готовность к тотальному пессимизму. Но мировая культура никогда, за редчайшим исключением, не утверждала благополучия в первой жизненной инстанции (толстовские сцены охоты, святок — это только отдельные блики). Как культура христианская она исходила из неизбытности земного зла; как культура революционно-социалистическая она исходила из неизбытности социального зла в пределах данного социального устройства.

Все изменилось с появлением предпосылки разрешенности проблемы социального устройства. Первую инстанцию было предписано рассматривать впредь как область снимаемых и в основном снятых противоречий. И вот тут возникла неадекватность действительности, грандиозная, еще не бывавшая в мировом искусстве. Вернее, искусство, как интерпретация жизни, перестало существовать. Ибо в первой инстанции человек никогда не ощущал и не может ощущать себя благополучным. Только в последующих инстанциях может быть снята эта незатихающая тревога.

1943

* * *

Из всех человеческих вожелений устремление к власти, к господству имеет самую богатую и дифференцированную синонимику: властолюбие, честолюбие, самолюбие, тщеславие, гордость, надменность, высокомерие, самолюбование, самовлюбленность.

Разумеется, все это не тождественные, а различные категории самоутверждения, но занимательна сама дифференцированность исходной предпосылки.

* * *

Что есть пошлость... Пошлость — это, в сущности, искажение ценности, неправильное обращение с ценностью. Пошлость либо утверждает в качестве ценности то, что для подлинно культурного сознания не ценно, либо унижает ценное, либо ценности, выработанные в недоступной ей культурной среде, применяет не там и не так как следует; вырывает их из органической связи. Пошлость не может быть там, где есть органическая связь ценностей, то есть культура. Поэтому народное сознание в своих интеллекту-

альных проявлениях не может быть пошлым; народное, фольклорное сознание в высшей степени выражает связь ценностей, органическую культуру. Пошлость свойственна промежуточным слоям, стремящимся паразитически овладеть высшей культурой своего времени, которая им недоступна. Пошлость особенно развивается в моменты идеологически неустойчивые, в моменты, когда разлагаются и слагаются идеологические формы, когда связь между идеями непрочна. Ибо тогда слишком много возможностей для применения фиктивных ценностей или для неверного применения подлинных ценностей. Страшно, когда носители и блюстители пошлости имеют власть искоренить все, что им не подходит.

Одно из самых основных и самых губительных свойств пошлости — безответственность. Пошлость не нуждается в обосновании, в связи, в выводах из посылок, и не понимает того, что поступок есть выбор, и тем самым отказ от *другого*.

* * *

Почему на символистах (модернистах, декадентах), несмотря на высокую культурность, новаторство и проч., тяготело все же проклятие пошлости. Вероятно, объяснение этому в интеллектуально-эстетической изолированности от общей социальной жизни. Классицизм, романтизм, реализм неотделимы от ведущей философии, религии, науки, социальной идеологии своего времени, даже от его государственности, политики и военного духа. Поэтому их ценности и оценки проникнуты необходимостью и ответственностью. Символизм, напротив того, искусственно, в чужеродной среде, воссоздавал религиозные и философские ценности. Символисты никак не могли уйти от стилизации, то есть от вторичного, паразитического использования идей. Отсюда дух произвольности и произвола, и угроза пошлости, тяготевавшая даже над лучшими из них. Не говоря о худших.

* * *

Теоретически интеллигентам нравятся «простые души». Но на практике «простые души», если только они не принадлежат к сфере самобытного народного сознания

(например, патриархально-крестьянского), — не остаются в той сфере интересов, где могут правильно, адекватно оперировать ценностями.

В силу естественного и даже благородного стремления человека к тому, что он считает самым важным, они непременно заберутся в такую культурную сферу, где их представление о ценностях окажется искаженным и искажающим (пошлым). Что сразу отвращает от них интеллигентское сознание. В частности на этом сокрушаются «неравные браки».

ЧЕТЫРЕ СТЕПЕНИ

Не следует представлять себе, что люди твердого гражданского или религиозного сознания ведут себя стопроцентно, что они, например, действительно не страшатся смерти. Отнюдь нет. Но у них есть предел моральных устремлений, высокий моральный потолок, или проще говоря, идеал. Они, даже творя зло, знают разницу между добром и злом. А это великая сила.

Можно установить четыре основных степени индивидуалистического или коллективистического (сверхличного) сознания (соотносительно поведения).

1. Бессознательно-эгоистическое. Обыватели в беспочвенные эпохи. Наивные шкурники. Весьма хрупкие существа, обреченные всем случайностям и, следовательно, всем страданиям.

2. Бессознательно-сверхличное. Человеческая масса крепких государственных, национальных, социальных, религиозных коллективов. Господство традиции, инерции, инстинкта, непосредственного внутреннего опыта.

3. Сознательно-эгоистическое. Исключительная принадлежность интеллектуальных кругов. В своем последовательном развитии приводит к декадентству со всеми его ужасами. Единственную пристойную форму этого жизнеощущения нашли еще древние. Это эпикуреизм, увенчанный философским самоубийством.

4. Сознательно-сверхличное. В предельной, последовательной форме это — религиозное сознание, не обязательно, впрочем, направленное на Бога.

С 19 века религиозное сознание (в особенности направленное на Бога) перестает быть ведущим. Но атеисты по-прежнему жаждут внеположных ценностей, ибо жаждут духовной деятельности, которая без внеположных ценностей невозможна.

Атеистическое сознание путем тяжелых исторических испытаний может придти к следующему: все духовные, культурные ценности, которыми я пользуюсь, — внеположны, сверхличны, принадлежат общей жизни. Следовательно, я не только нерасторжимо связан с этой общей жизнью, но я всецело от нее завишу; следовательно, она выше,

ценнее меня. За право пользоваться ее ценностями я — если не хочу быть паразитом, т. е. существом неполноценным — расплачиваюсь этим признанием со всеми вытекающими из него последствиями, со всеми возможностями жертвы, которая может быть от меня потребована.

Общая жизнь конкретно предстает человеку в виде народа, государства, родины, страдающего человечества, класса, исторического прогресса и т. д. Но абсолютность, непререкаемый смысл этих идей остаются для скептика недоказанными. Человек, соединяющий жажду духовной деятельности — всегда направленной на общезначимые ценности — со скепсисом, — неизбежно окажется в положении принявшего условные «правила игры», притом налагающие на него предельные, иногда смертельные обязательства. Подобная концепция граничит с абсурдом, но скептический ум не в силах никакими ухищрениями этот абсурд опровергнуть. Он жертва эмпиричности своих представлений. Ибо эти относительно-абсолютные и условно-безусловные сверхлические ценности не даны ему, но постулируются им из неотъемлемых потребностей собственного сознания.

Такова первая ступень четвертого раздела. Пребывание на ней в достаточной мере неутешительно.

Исход (вторая ступень) — в найденной объективной достоверности сверхлического. Быть может Толстой прав, утверждая, что единственная метафизическая достоверность — это любовь, снимающая все дальнейшие вопросы о смысле, о цели и т. д. . . . Но для этого любовь должна быть именно метафизической сущностью, ибо в пределах психологических она ведь тоже является только жизненным *условием* или — хуже того — «обманом чувств». Но там, где есть метафизическая достоверность любви, там начинается религиозное сознание, которое может иметь своим предметом не только Бога, но человечество, народ, социальную группу, родину, государство. Но мы, атеисты, знаем, что только Бог сообщает этому сознанию последнюю достоверность.

* * *

Если пределом для наивных эгоистов является наслаждение, для интеллектуальных эгоистов — созерцание, для людей религиозного мироощущения — любовь, то для скептиков, исповедующих относительно-абсолютные, условно-

безусловные ценности, таким пределом является творчество.

Творчество есть свободное, целенаправленное, индивидуальное воздействие человека на мир, «я» на «не-я»; причем в итоге этого индивидуального воздействия в мире происходят целесообразные изменения, имеющие общие значения и принадлежащие общим связям. Это и есть та неодолимая, необъяснимая, извечная потребность, ради которой человек, понявший, что нет творчества вне связей общей жизни,— принимает жесткие «правила игры». Но фетишизм творчества мучителен для каждого неизвращенного человека. Самоцельность творчества никогда не удовлетворит ум, ищущий последнего смысла вещей, не утолит сердце в его желании несомненного.

* * *

Лучшие умы 19 века сетовали по поводу отмирания органических жизненных форм в Европе. Но по сравнению с тем, что проявилось впоследствии, оказалось, что все это еще очень органично. Суть в том, что там на уже пустом в метафизическом смысле месте действовали традиции, инерции, инстинкты, предрассудки. Предрассудок — это и есть инерционная, опустошенная, застывшая оболочка некогда живого содержания.

Оказывается, предрассудок, если не всегда легко искоренить, то все же гораздо легче, нежели нажить обратно. И вдруг этот обратный ход оказывается необходимым. Предрассудок — конец, омертвелый конец культурно-исторического процесса — оказывается его началом. Условности, правила, нормы восстанавливают административно, не заботясь об обосновании. Предрассудок — орудие, которое можно поспешно (впредь до нарождения органических форм) выдвинуть против распоясавшегося эгоизма.

Много ли можно поднять этим рычагом? Может быть и не мало, если правила и условия, на первый случай, окажутся условием привилегированности или способом ее достижения. Все понимают недостаточность подобных средств. Но процесс этот может оказаться встречным. То есть он когда-нибудь, где-нибудь может встретиться с нормальным процессом развития органических жизненных форм.

Разумеется, призракнейший из призраков — литература. Чуть то, что часто приходится слышать: индивидуальное мнение вовсе не обязательно; во времена классицизма тоже была догма, единая точка зрения и предрешенность, и получилась великая литература. Это чуть потому, что литература классицизма выражала мировоззрение эпохи, потому что тогда люди так думали, а теперь так не думают.

В этой области двурядное бытие необыкновенно отчетливо: литература не только не выражение воззрения, но область совершенно условных значений, начисто отрезанных от реальности. Молодым писателям даже уже не приходится подвергать свое восприятие каким-либо операциям; они прямо так и концепируют вещи в двух рядах сразу — один для писания, другой для жизни вообще.

Вообще же литература не то чтобы плохая, но ее просто нет как таковой, то есть как художественной деятельности. Есть особая форма государственной службы, отчего и возникает представление о нерадивом писателе, который мало, не плохо, а мало — пишет. Литературы нет потому, что отсутствует самый ее основной неотъемлемый признак — выражение миропонимания. Наша литература — явление небывалое и потому интересное своей социальной субстанцией. В этом плане ее когда-нибудь будут изучать.

У Б. есть теория, что поэты талантливы, если при всем том им что-то удастся сказать. Талантливые поэты есть, но когда их слушаешь, самого даже талантливого, уныло знаешь заранее, что стихов не будет, потому что нет поэзии. Это, собственно, значит, что нет стиля, то есть принципа выражения идей. Поэтому не может родиться новое смысловое качество; слова остаются поэтически непретворенными. Это либо житейское сырье, либо эстетические или идеологические стереотипы.

Отсутствие большого стиля характерно для всей эпохи, повсеместно. Это вообще падение гуманитарной культуры. Мы — это только наиболее проявленный случай, неприкровенный. Там же, при свободе выражения — отсутствие новой принципиальной концепции человека. Там тоже нет ничего кроме инерции высокой литературной культуры, которая здесь была насильственно прервана. Только отсутствие большого мирового стиля позволило прекратить искусство на нашем участке, иначе данная литература невзирая ни на что тяготела бы и прорывалась бы к большому стилю. Во всяком случае было бы возможно появление

больших ненапечатанных произведений. В настоящее время по отношению к такого рода произведениям у нас нет правильного критерия. Их принадлежность к другому ряду сама по себе производит столь сильное впечатление, что все дальнейшее уже неясно.

При такой ситуации чрезвычайно нелепо положение истории литературы, которая по инерции и в силу каких-то практически-просветительских потребностей разрослась в огромную область. Может быть, это эрзац литературы, ибо туда и наоборот оттуда может проецироваться проблематика не то чтобы современной литературы, но той постулируемой литературы, которая могла бы быть современной.

Почему и зачем эти девочки занимаются литературоведением, а не чем-нибудь другим (если у них не прямые педвузовские установки?). Некоторые, из интеллигентных семей, в силу того, что учиться в вузе все равно полагается, а других способностей и интересов у них нет кроме неопределенно-гуманитарных. Или по примеру родителей. Кроме того, в нынешнем году не удалось поступить в институт иностранных языков, а они хотели изучать английский язык (поветрие); для того и пошли в университет.

Потом были в отчаянии, когда их насильственно распределили по другим факультетам.

Смотрю на них со странным чувством: как они могут заниматься этим, если они никогда в своем внутреннем опыте не пережили, что такое литература, то есть чем может быть для человека литература. Мое поколение еще захватило последний краешек этого переживания и потому оно последнее, для которого естественно было заниматься литературоведением (удивительно неприятное слово).

Сейчас для меня это уже неестественно, и потому что эта область сейчас тень от тени, и в нее приходится с усилием вкладывать иные прорывающие ее содержания. И потому что по ходу времени человек непроизвольно приходит к своему максимуму. И уже перед ним поставлен последний вопрос — хватит или не хватит сил на самое большое усилие... А приходится искусственно, может быть навсегда, задерживаться в области уже внутренне изжитой. Уже обидным, ненужным становится это комментирование чужого, это принудительное опосредствование, оно уже внутренне ненужно и переживается как заместитель других возможностей.

Не следует смешивать инстинктивное, физиологическое отвращение к смерти с волей к бессмертию, присущей человеку.

Именно воля к бессмертию сплошь и рядом подавляет защитный инстинкт, бросая человека в смертельную опасность. Когда человек хочет вечности, он, без сомнения, вовсе не хочет ни вечно вешать номерок, ни вечно ходить в кино, ни вечно ездить в дом отдыха. Бесконечность сама по себе не только не утешительна, но одна из самых ужасных идей, какие концепирует человеческий ум, — это идея бессмысленной бесконечности. Когда человек хочет вечности, то он, разумеется, вовсе не хочет вечного повторения разрозненных и преходящих мгновений своей жизни. Он, напротив того, хочет вечности, легко укладываемой в любое мгновение; вечности, как внутреннего опыта, как непосредственного и непостижимого абсолюта. Основным признаком, неотъемлемым атрибутом абсолюта — бесконечность. Ибо абсолют должен мыслиться не только совершенно объективным, совершенно внеположным, но и совершенно изъятым из условий, определяющих единичное существование. Иначе абсолют окажется недостаточно убедительным, недостаточно абсолютным для единичного существования, стремящегося в нем раствориться. Только этот акт снимает исконный вопрос о смысле жизни. Вопрос о смысле жизни всегда был вопросом о связи между преходящими, умирающими мгновениями, о связи, непрерывно переживаемой и в любом мгновении присутствующей во всей своей полноте. Эта осмысляющая связь может быть только сверхличной, осуществляемой за пределами единичного сознания. Но если вечность — атрибут абсолютного смысла, то все единичное, конечное, преходящее адекватно для нас бессмысленному. Замкнутые в себе, бессвязные, непрерывно умирающие мгновения жизни представлялись всегда крайней, самой трагической бессмыслицей. Фраза: жизнь бессмысленна, потому что человек смертен — логически несостоятельна. Справедливо другое — конечность единичного сознания, если оно не в силах преодолеть свою единичность, является самым крайним, логически самым ясным, психологически самым мучительным выражением бессвязности, бессмысленности бытия.

Толстой писал: «Если же человек боится, то боится не смерти, которой он не знает, а жизни, которую одну знает и животное и разумное существо его. То чувство, которое выражается в людях страхом смерти, есть только сознание внутреннего противоречия жизни...»

Самого атеистического человека, вовсе не занятого проблемой бессмертия души, может тяготить мысль о том, что дело, которое он делает, через сто лет окажется никому не нужным, что культура, к которой он принадлежит, через тысячу лет исчезнет с лица земли. Что за дело до этих сроков человеку, которому осталось прожить самое большее еще тридцать или сорок лет? Это в нем говорит органическое чувство связи. Это неистребимое стремление, наивное в своем эмпиризме, как можно ближе приблизиться к абсолюту, попытка овладеть абсолютом хотя бы негодным средством относительного увеличения меры времени. Этот загробный счет нужен ему сейчас, покуда он жив, на оставшиеся ему тридцать лет он нужен ему как мера относительной прочности творимого дела, как мера смысла и ценности.

На практике все, что мы воспринимаем, мы воспринимаем как имеющее значение и имеющее ценность (или как не имеющее ценности). Это первоначальные, ниоткуда не выводимые условия (формы) нашего интеллектуального и морального бытия. От них так же нельзя отделаться, как нельзя практически жить вне времени и пространства на том, например, основании, что пространство и время принадлежат не миру вещей, но познающему разуму человека.

Не знаю, можно ли объяснить, что такое ценность. Это известного рода благо. Но что такое благо? Тут мы доходим до вещей, всем без исключения известных из внутреннего опыта и потому дальше неразложимых и неподдающихся описанию.

Легче определить, чем отличается ценность от других видов блага, от непосредственного, например, наслаждения. Категория ценности рождается вместе с первыми проблесками социальности. Она не существует без социальности, как социальность не существует без нее. В отличие от наслаждения, ценность не может быть определена из ощущений единичного биологически замкнутого организма. Она устанавливается за пределами индивида, и потому один из основных ее признаков — всеобщность; от абсолютной всеобщности до относительной общности тех или

иных социальных категорий. Ценность — категория связи. Ее действие (в отличие от действия преходящего наслаждения) перманентно и протяженно. В этом смысле духовные ценности подобны материальным. Банковский билет лежит в вашем бумажнике, не теряя свою силу. И в каждое данное мгновение вы можете использовать, реализовать все вложенные в него возможности и потенции. Вы — обладатель ценности. Это состояние длящееся, и в то же время сама эта длительность, как особое переживание, содержится в каждом данном мгновении. Ценность — факт социальной памяти.

Реализация духовных ценностей происходит в скрещивании двух элементов. Это предельная всеобщность и внеположность общего и предельно личное к нему отношение. Человек утверждает себя в объективных, всеобщих ценностях и в то же время, присваивая себе эти объективные и всеобщие ценности, создает из них свою собственную ценность, автоценность (давно уже бытует негативное понятие неполноценности).

Здесь множество психологических вариаций, от практики эгоистов и честолюбцев до реального экстаза самоотвержения. Но замечательно, что никакой экстаз самопожертвования не снимает необходимости в личном переживании ценности. Индус, бросающийся под колесницу своего бога, хочет, чтобы колесница раздавила именно его; его не устраивает, если она раздавит кого-нибудь другого.

Но зачем бросаться под колесницу? Зачем вообще бросаться, если можно жить в свое удовольствие? Это древний разговор о том, что животные блага предпочтительнее духовных, что глупые люди будто бы счастливее умных, что хорошо быть свиньей и греться на солнце и проч. . . . Это старый, фальшивый, кокетливый интеллигентский разговор (охотнее всего ведут его люди, которым не так уж от многого нужно отречься, чтобы придти к вожделенному для них состоянию), этот разговор пора оставить. Если глупый человек страдает (будто бы) меньше умного, если животное страдает меньше человека, то растение страдает меньше животного, а камень совсем не страдает. Следовательно, речь тут идет не о жизни, а о смерти, о наиболее удобных переходных формах к смерти. И это понимали отрицавшие жизнь Шопенгауэр или Гартман. Но для разговора о жизни эта концепция не годится. Потому что приняв жизнь с ее законами, мы тем самым примем исходную предпосылку: человек стремится развить до

предела все в нем заложенные возможности. Он не хочет быть свиньей, чтобы греться на солнце. Потому что инстинктивно он понимает, что не свинья, а именно он, человек, умеет греться на солнце; тогда как свинье, вероятно, глубоко безразлично — на солнце она согрелась или в хлеву.

40-е годы

МЕСТО В ИЕРАРХИИ

После странного висения и раскачивания в безвоздушном пространстве, стали совершаться процессы, очень важные и отчасти пледстворные, несмотря на присущие им шокирующие черты.

Один из них — образование привилегированных, процесс государственно важный и оздоровленный лежащим в его основе творчески-трудовым принципом. Здесь нельзя судить по паразитической гуманитарной области, которая фальшива в самой своей основе (симуляция гуманитарной культуры). В остальных областях, при всех возможных и неизбежных загибах и засорениях, принцип гораздо чище: офицер привилегированнее солдата, инженер — рабочего, профессор — студента и т. д. — только в силу больших знаний и умения. Наследственный момент сможет сыграть только ограничительную роль, роль предпосылки, облегчающей личные усилия, но не избавляющей от них. Так по крайней мере на ближайшие поколения. Это здоровый принцип трудового государства!

Шокирующие интеллигентское сознание стороны процесса состоят, во-первых, в том, что этот процесс восстановительный, после того как впервые было, казалось, достигнуто равенство, столь давно провозглашенное и остававшееся столь недостижимым. Жалко расставаться. Во-вторых, этот шокинг происходит от чрезвычайной наглядности, грубой осязаемости распределяемых благ, в свою очередь происходящей от их незначительности по сравнению с материальными благами буржуазного мира. По сравнению с этим миром, разница между обладающим и не обладающим благами бесконечно мала и потому в особенности грубо осязаема. В особенности это ощутимо при распределении благ не деньгами, а натурой. Несмотря на то что все понимают эквивалентное соотношение между деньгами и продуктами, психологическая разница между 1000 руб. и 500 руб. зарплаты никогда не будет столь обнаженной, как разница между 600 гр. и 400 гр. хлеба, ибо здесь откровенно взвешена человеческая жизнь, право на жизнь. Миллионер и квалифицированный рабочий, при желании, могут быть одинаково одеты. Но имеющий закрытый

промтоварный распределитель и не имеющий — не могут быть одинаково одеты. Эта разница психологически грубее, обиднее откровенностью измерения пригодности человека, сравнительного права на жизнь, но по своей социальной сущности она неизмеримо меньше, преодолимее.

В-третьих, шокируют отношения, столь противоречащие духу мирового гуманизма и в особенности традиции русской культуры. Привилегированные люди русской культуры ели, конечно, устриц и икру, но при этом стыдились и калялись и оплакивали тех, кому не хватало хлеба. Большинство оправдывалось тем, что тут единичным самоотречением все равно не поможешь (рассуждения, возмущавшие Толстого), но что это дурно и стыдно — было моральной аксиомой. Материальная привилегированность являлась для них данностью, изначальным фактом, и потому не являлась предметом реализации. Это не было интересно. Снизу еще мало кто претендовал на равенство. Наоборот, надо было уговаривать и проповедовать равенство сверху. Для интеллигенции это и было актом отказа от низшего ради высшего, обеспечивающим моральное превосходство над неотказывающимися, — и поэтому подлинной реализацией.

Но представьте себе людей, прошедших через все унижения, людей, которых уплотняли, вычищали, лишали... Главное, в привилегии которых снизу никто не верит (по крайней мере, не верили до последнего времени). Только барину интересно опрощаться, потому что только для барина это может стать этическим фактом. Ощущение же барства может существовать только когда оно подтверждается отношением низших, их верой в то, что это действительно барин, человек другой породы. И хотя в сословном обществе нового времени всегда было много скептиков и наверху и внизу, но, в разрез доводам скептического ума (все из одного теста сделаны), крепкий инстинкт различия существует во всяком сословном и классовом обществе. Нынешние же прошли через период, когда их вовсе не различали или различали по признаку паразитизма и неполноценности. Они познали равенство на собственной шкуре, не то приятное равенство, в котором нужно убеждать, не то возвышающее душу равенство, к которому человек свободно приходит, внося в него пафос отречения, — но совсем другое. Они познали его в ужасающе наглядной, буквальная и осязательная форма: в очередях, трамваях, коммунальных квартирах, столовых. Оно предстало им толчками в бок, матом, язвительными замечания-

ми: «подумаешь, если трамвай не нравится, нанимайте такси», «ну-ка сдвинься», «папаша».

В свое время барину, интеллигенту, может быть нравилось, если его назовут «папашей», ибо про себя он знал свое место в иерархии и, главное, знал, что все его знают. Это могло быть приятным знаком удавшегося опрощения, вообще фактом, совпадающим со свободной внутренней установкой. Теперь для него это — унижение, отрицание иерархии, хамство. Они вынесли из всего этого много ожесточения, безжалостности, собственного, встречного хамства. Они торопливо, жадно хватаются за все знаки различия, за все, что теперь должно их выделить, оградить. В этой связи пайки имеют чрезвычайное психологическое значение; для многих, уже отчаявшихся, — в основном даже психологическое. Несколько лет тому назад в дачном поселке, где были затруднения с хлебом, Г. как-то прибежал на пляж с радостным криком: «Хлеб будут давать только профессорам!» Что произвело тогда некоторый скандал, о чем говорили. Потом стало проще, хотя кричать об этом на пляжах, улицах и площадях все же не принято.

Но вот в писательской столовой имеется второй зал, для рационщиков, для баб, которые получают *другое*. Это не только никому не кажется стыдным, но напротив того, если низший зал испытывает к высшему нескрываемые чувства зависти и злобы (паразиты, хуже того — паразитки, ведь тоже всё бабы), то высший относится к низшему с нескрываемым недоброжелательством, главное, он боится быть ущемленным. Конечно, столовая меньше всего думает о нас, им нужно накормить всю Шпалерную улицу.

— Опять не хватило булочек. Понятно, обычная история, сначала все рационщикам, потом нам.

Писатели пользуются привилегией получать без очереди обеденные чеки. Чем больше очередь, тем больше удовлетворения. Это источник торжества над теми самими, от которых пришлось столько натерпеться в очередях. И тут врагини бессильны, вынуждены признать, что те выше, признать иерархию. Особенно восхитительно, если какая-нибудь врагиня, не понимающая всей слабости своей позиции, начинает протестовать: «Тут никогда не достоинься, если так все будут со стороны подходить...» Эту реплику, что называется, — бог послал. Следует торопливый, захлебывающийся заведомостью собственного торжества ответ:

— Если вам не нравится, кто вам мешает прикрепиться в другой столовой. Пожалуйста. Мы только рады будем, чем меньше, тем лучше.

Это говорит интеллигентка. В трамвае она не скажет: «Если вам не нравится, нанимайте такси». Не скажет, потому что это готовая осмеянная формула, которая, по ее мнению, неприлична. Но тут она инстинктивно находит ту же формулу на другом материале.

Следует ответ: «Сами рады бы в другом месте прикрепиться. Так вот приходится . . . Надоела ваша столовая . . .»

Но никакие ответы в данном случае не действительны. Они даже не вызывают охоту возражать. Их можно даже не замечать (не стоит связываться...). Или сказать: «Здесь не базар, привыкли заводить всюду склоки, не можете никак без этого обойтись». Сила и право на стороне писательницы. Буфетчица (всегда грубая и деспотическая, поэтому особенно приятно иметь ее на своей стороне. Это тоже победа) закрепляет этот факт своим авторитетом:

— Вы не шумите. Я сама знаю, кому как давать.

Неприятно только, что в разговор вмешивается старуха В. и тоже считает нужным поддержать права: «Это столовая писательская. Чем меньше тут посторонних будет, тем для нас лучше». Старуха В. — не член Союза, она на учете профкома писателей, и даже это, в сущности, можно считать благотворительностью. Могла бы не вмешиваться. Ее вмешательство рождает смутное чувство неловкости. Если проанализировать это чувство, то оно окажется непроясненной до конца догадкой о том, что этот спор — в конечном счете склока между равными. Ведь между старухой В. и зарвавшейся рационщицей не такая уж разница.

Рационщики дают пищу чувству писательского превосходства терпеливым ожиданием. Они стоят с тем выражением мрачного терпения, которое бывает у женщин на приеме в больнице, в очередях у магазинов и тюрем.

Писательница: «Пожалуйста, режьте талоны на два пирога».

Рационщица: «Сегодня пирог?»

Писательница знает, что пирог сегодня «только для писателей», но отвечает: «да». Она считает, что отвечает так из деликатности, но не без злорадства ожидает дальнейшего.

Рационщица: «А что, всем дают?»

Тогда уже с раздражением (к чему, в самом деле, этот уравнивающе-хозяйственный разговор...): «Не знаю. Спросите в контроле. Как я могу знать, что вам дают, чего не

дают». Это ответ резче подчеркивающий дистанцию (не знаю и не интересуюсь), чем если сказать: «Вам пирог не дают».

Что же это — безобразие? Нравственное падение? Где великая русская традиция (сейчас как раз читаю статьи Толстого 80-х годов)? Да, падение, а в основе всего — демократизм. В традициях было много душевно изнеженного и барского. Барским было и опрощение, и острая жалость (жалость всегда непонимание сверху, со стороны), и стыд за свои преимущества. А все вышеописанное — безобразное выражение, но выражение предпосылки равенства.

Люди, подвергающиеся опасности, считают себя вправе не скорбеть о погибших. Никто не упрекнет приехавшего с фронта в отпуск, если он веселится и не думает о мертвых. Все, и он сам, знают, что он имеет на это право. Точно так же люди, испытывающие лишения, в силу бессознательного, иногда сознательного расчета, избавляют себя от жалости. Это негласная сделка с совестью. Они рады тому, что заработали право не думать об этом (чего ради я тут расчувствовался, когда у меня отец умер от дистрофии).

Русская литература 19 века исходит жалостью. Ее создавали люди, как правило, не испытывавшие лишений. Некрасов всю жизнь не мог забыть того, что не ел досыта в юности. Денежная трагедия Достоевского известна всему миру. Но у Достоевского все-таки была шуба, и квартира, и даже поездки за границу. Лишения были уделом неинтеллектуальных, соотносительно — жалость была уделом интеллектуальных. Интеллектуальный человек, испытывающий настоящие лишения, настоящую, буквальную нищету — не ту, которая состоит в том, что человек проживает больше, чем имеет, или выплачивает долги и т. п. — был явлением ненормальным, спутывающим все представления, он сам не понимал свою позицию. Когда он стал явлением нормальным, он довольно скоро понял свою позицию — и перестал жалеть.

Удивительно мало жалости вокруг. Впрочем, она быть может и не нужна для правильной работы этого общественного аппарата. В отдельных случаях она встречается, конечно, но больше у людей архаического склада. Жалость в чистом виде — это неравенство. И вот в чистом виде она почти и не существует. Потому, что люди использовали свои лишения, как право не думать о чужих, хотя бы тягчайших. И потому, что в этом деле совсем нет частной инициативы и личной ответственности. Отсюда: все равно

нам ничего не сделать, пусть интересуются те, кому этим ведать надлежит и кто взял на себя ответственность. Вообще проблема не нашей компетенции.

И наконец, жалость вытесняет ущемленное самолюбие. Жалость — отношение силы к слабости. Жалеемый тем самым обезоружен, обезврежен. Необезоруженного, не-обезвреженного нельзя окончательно пожалеть. Разумеется, человек может и пожалеть, когда соответствующее зрелище хлопнет его по лбу. Речь идет не об этом. Но об отмирании жалости как постоянного душевного состояния, как одеологии, что так характерно было для 19 века.

У Толстого в статье, посвященной ужасам городской жизни, есть история прачки. Прачка жила в ночлежном доме, безнадежно задолжала шесть гривен, ее выгнали зимой на улицу. Она побродила, посидела, вечером опять побрела к дому, по дороге свалилась, умерла.

Замечательны — шесть гривен. Как художник, знающий свое дело, Толстой отнюдь их не подчеркивает, но он понимает, какой в них эффект для читателя-барина, на которого рассчитана статья. Невообразимая ничтожность суммы, из-за которой загублена человеческая жизнь, до предела увеличивает дистанцию между читателем и героиней, доводит трагедию до ужасающей непонятности. А для жалости это необходимо. Чем сильнее непонимание, тем больше дистанция, — тем острее жалость.

Толстой описывает эту прачку в гробу: «Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна в своем гробу: чистое, бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное».

Жаль, страшно жаль. Но при жизни эта прачка из ночлежного дома не ходила же все с усталым и добрым лицом. Она могла и толкнуть соседку на кухне, и, в случае чего, покрыть матом. Но Толстого и его читателей это никак не могло коснуться; если бы и коснулось случайно, то бесследно бы отскочило, как нечто заведомо несоответствующее их установленному месту в иерархии. А вот от нынешних не отскакивает. Этим такие прачки крыли в коммунальных квартирах, толкали в трамваях, выпирали из очереди на дрова. Эти прачки не обезврежены.

А кто не вытащит из себя жало уязвленного самолюбия, тот не увидит чужих страданий.

Писательница И. отправилась на дровяной склад договариваться о перевозке полученного метра дров. Попыталась

договориться с двумя женщинами в полушубках. Разговаривала ласково, предложила хорошую плату. Тем не подошел район. Так как она все еще не отходила, то одна из женщин, обругав ее матерно, сказала: «Ну чего еще стоишь, мешаешь работать, сказано тебе...»

Писательница И. испытывает бессильную, непроходящую злобу. Потом она отправляется в редакцию, где ей говорят, что ее материал не пойдет, или что его нужно в третий раз переделывать, или что его уже переделал редактор, которому виднее и т. п. Не худшая ли это обида? Но она не обижается, разве что совсем немножко. Все это выражено языком, который, по ее мнению, соответствует ее месту в иерархии. Она остается сама собой, в своем виде, соответствующем ее самосознанию. Но когда она идет на рынок с кошелкой, и ей говорят, даже беззлобно, — «ты» или «ну, чего задумалась, мамаша?» (почему мамаша? Она ведь совсем не старая) — она испытывает непоправимое оскорбление, деградацию, отвратительное чувство потери личности. Она для них — женщина с кошелкой, точно такая же, равная.

1943

* * *

С. в прошлом месяце каким-то зайцем прикрепилась к магазину одного высокого учреждения. Воспроизводит разговор в очереди на прикрепление. Дама в котиковом манто — соседке:

— С будущего месяца здесь обещают все это изменить. Все эти дополнительные карточки уберут отсюда. А то смотрите что получается — я стою и мой шофер стоит, сзади меня в очереди. У него дополнительная, и он стоит. И потом все время с ними сталкиваешься. Берут 100 грамм масла, а время занимают, создают очереди.

У С. в передаче этой сцены есть своя подводная тема. Она принадлежит к тем, у кого в свое время был или мог быть шофер. С потерей примиряло то, что его («моего шофера») вообще нет, неприятно, что появились другие — к этому вовсе непредназначенные — у кого он есть.

Но интереснее тут другое. Любопытно, что мы еще демократичны, и пользуемся притом не буржуазно-демократическим, а социалистически-демократическим понятием равенства, то есть понятием, отрицающим неравенство

не только сословное, но имущественное. И совершенно асоциальная птичка С. бессознательно пользуется тем же критерием (ведь в буржуазных условиях никого бы не удивило замечание дамочки), бессознательно имеет перед собой ту же норму равенства, за убыстряющимися отклонениями от которой все мы следим. Новая иерархия вовсе еще не совершившийся факт, а еще процесс, в достаточной мере противоречивый и осязаемый.

В закреплении новой позиции существенны два момента военного времени. Они резко протолкнули давно намечавшиеся изменения. Первое — это военная иерархия, которая сразу все прояснила. То, что вне ее было подхалимством, в ее пределах стало чиновничеством. Содержание получило форму, красивую, правильную, молодежательную, совместимую с честью и доблестью. Иерархия проецировалась в гражданский быт, где выглядит, конечно, иначе.

Вероятно, только на фоне военных ассоциаций возможен ректор Вознесенский, который кричит на студентов, если они перед ним не успели вскочить или снять шапку. К нему как-то пришла на прием (наниматься) преподавательница французского языка. В кабинете у него лежит дорожка. Она пошла мимо дорожки. Вознесенский сказал: «Вернитесь и пройдите по дорожке». Она вернулась и пошла по дорожке.

Второй определяющий момент — это иерархия снабжения. Ею все сказано *en toutes lettres*¹. Она ежеминутно осязаема в быту, ее нельзя забыть. Наконец, она гораздо иерархичнее имущественного неравенства, и по психологической своей сущности — ближе к неравенству сословному, кастовому и именно для него создает предпосылки. Ведь «ее шофер» может пойти в любой коммерческий ресторан, магазин, но в закрытый распределитель он пройти не может.

В послевоенное время (не сразу), когда решающая роль двух этих моментов отпадет, придется переходить к психологически более сложному расчленению общества. Тогда социальные категории могут опять оказаться чересчур сближенными. Мужьям все-таки проще — у них служебные отношения. Но где возьмут жены психологическую гарантию привилегированности — без прикрепления в разных магазинах. Не сомневаюсь, впрочем, что они найдут принцип различия. Все эти проблемы возникают именно

¹ откровенно, напрямик (фр.)

потому, что у нас имущественная дифференциация, по сравнению с капиталистическими странами, ничтожна.

Как радовались профессора, особенно жены профессоров, когда прошел слух о том, что на Михайловской доцентов и кандидатов больше прикреплять не будут. Соображения о лучшем снабжении или о меньших очередях здесь были на заднем плане. Человек вовсе не так грубо утилитарен. Человек грубо утилитарен, только пока он простодушно голоден. Здесь же был крик души изголодавшихся по чувству привилегированности. В свое время «кающиеся дворяне», пресыщенные переживанием привилегированности и потому жаждавшие переживания святости, говорили: «Пускай секут! Ведь мужика же секут!» (Михайловский).

ПОСТУПКИ И ПОБУЖДЕНИЯ

Толстой писал в знаменитой статье «Так что же нам делать?»: «То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом и что так жить, как я живу, нельзя и нельзя, и нельзя, — это одно было правда».

Вот она, формула личной нравственной ответственности за социальное зло. Формула действительного гуманизма. Предпосылка жалости. Формула утраченная.

Толстовский морализм индивидуалистичен, опираясь, в этом смысле, на индивидуалистичность христианского учения о ценности каждой души и о спасении собственной души как главной жизненной цели. Практический вывод из статьи «Так что же нам делать?» — тот, что важно не помочь таким-то и таким-то бабушкам, а важно спасти свою душу, а спасший свою душу вносит в мир ту частицу любви, которая поможет людям. Спаси свою душу можно только положив ее за други своя. Но главное-то дело именно в собственной душе. Так индивидуализм возвращается с противоположного конца. Лучше самая маленькая помощь с жертвой, чем самая большая без жертвы — по мнению Толстого, таковая вообще не может быть нравственной, то есть единственно настоящей помощью. Мужик Семен, у которого шесть рублей «капиталу», дал нищему 3 копейки — и помог. Человек с 600 000 никому не может помочь, хотя бы он раздавал сотни и тысячи. То, что эти сотни и тысячи, в отличие от трех копеек, все-таки могли каким-то людям облегчить жизнь, — отрицается или берется под сомнение, или остается незамеченным. Все это неважно по сравнению с проблемой спасения души. Вообще важны не поступки, не результаты, не поведение, но моральное побуждение.

Оба плана не совпадают — разные побуждения могут приводить к однородным поступкам. И обратно. Господство побуждения над поступком — это загиб личного морализма. 20 век приучен к обратному загибу. Проблематика моральных побуждений была съедена, с одной стороны, декадентством, а с другой — практическим социальным действием. Во втором случае это имело даже свое теорети-

ческое обоснование. Предполагалось, что побуждения человека всегда эгоистичны, но что при переходе от побуждения к поступку, в силу разумно-эгоистического расчета, вносятся социальные коррективы. Конечно, это одна из тех теорий, которые не могут иметь влияния на общественную практику. Но они между собой характерно соотносились. Во всяком случае на первых порах государство не вдавалось в побуждения; оно жестко требовало определенного поведения.

Сейчас вопрос о личной морали как основе общественной встает в высшей степени и, вероятно, будет ставиться со все большей определенностью. Но пока что инерция всецело основана на обходе этой морали, на голом требовании гражданского поведения, *поступка*, пусть из эгоистических побуждений, регулируемых принуждением и наградой.

Я имею в виду, конечно, практику, а не фразеологию, пропускаемую мимо ушей. То, что называлось когда-то «хорошим поступком», личный, внутренний моральный акт, совершаемый про себя, ценный именно тем, что он совершается про себя как личное душевное дело, этот моральный акт не только не принимается в расчет, но, в сущности, даже не допускается, выталкивается. Ибо коллективу нужны не поступки, хранимые про себя, но хорошие поступки, образцово-показательные, прокламируемые и рекламируемые. Но это палка о двух концах, ибо жизнеспособному коллективу нужны люди доброй воли. И коллектив начинает это понимать. Но пока все устроено так, что ведется точный учет «хорошим поступкам», совершаемым в порядке общественной работы и общественной нагрузки. Учет на предмет отчетности перед вышестоящими инстанциями, заметок в стенгазете, премий и т. п.

Один пример: Союз писателей берет шефство над госпиталем. Так как в Союзе писателей добиться какой-либо общественной работы почти невозможно за отсутствием обычного учрежденческого аппарата, регулирующего эту работу, то невозможно добиться и этого. К., у которой хватает времени прикреплять дополнительную карточку на другом конце города, потому что там якобы больше возможностей отоварить месячные талоны животным маслом, — говорит, что для дежурства в госпитале у нее нет времени: «Я не понимаю, почему собственно Лена В-а считает, что ее эти дежурства не касаются. Какие у нее такие важные дела? Я занята не меньше ее.»

Понятно, ей не столько жалко времени, сколько она боится, что посылают мелких. Если не посылают Инбер или Берггольц — это само собой, они действительно высший класс. Но почему Л. В. считает себя избавленной? Это так же обидно, как то, что В-а получает литер, а она нет. Именно в данной связи это особенно обидно. К. делает свое дело в тяжелых условиях, она искренне считает, что работает на войну и уж во всяком случае сочувствует раненым бойцам. Но кто-то этим ведает, так пусть и дальше ведает. Личные «добрые дела» не являются предметом моральной реализации. Если в этой связи возникает реализация, то другая. Собрать материал для очерка, или — если пойти, то прочитать им что-нибудь свое (о фронте), рассказать что-нибудь. А каждый из них может рассказать в сто раз больше.

На этом фоне всякий шаг подвергается немедленному учету. Я провела в госпитале три часа. На другой день несколько человек в столовой хвалили меня за это. Руководитель профорганизации выражал свое удовольствие — вот человек никогда ни от чего не отказывается. Сказала и сделала. Редактор стенгазеты предложила написать заметку о моем опыте (трехчасовом) с призывом к другим писателям, на которых этот пример должен благотворно подействовать. Начальник отделения госпиталя выразил неудовольствие, что его со мной не познакомили. При втором посещении он пригласил меня в кабинет, расспрашивал о впечатлениях и сообщил, что вся шефская и т. п. работа точно учитывается путем записей в особую тетрадь, которая всегда лежит в кабинете. И всякий раз в эту разграфленную тетрадку обязательно записывать: читала газету, написала письмо, измеряла температуру, перестелила постель, провела беседу... И в особой графе подпись. Уныло мне стало.

Моральные побуждения со всей своей атмосферой выключены. Поступок же включается в серию рядов, в которых он имеет значение и интерес только в точно учтенном, документированном виде, претворяющем его в общественную нагрузку. Профорганизатор доволен, потому что он может сообщить, что у него налаживается шефская работа. Редактор газеты доволен, если у него появится требуемый материал. Начальник отделения доволен обогащающейся отчетностью о проводимой у него культурной работе и кроме того учитывает, что писатели могут описать. Он даже знает, что писатели появляются в таких местах, потому что собирают материал. Это лестно.

Среди этих людей есть честные, хорошо работающие, искренне преданные, перенесшие много трудов и опасностей. Если они так бесстыдны, то потому, что утрачен смысл личного морального импульса. Самое понимание этого импульса.

Здесь суть, конечно, не в том, что собрались «злые люди», — люди ведь такие же как всюду. А в том, что единичный, личный моральный опыт не является актом реализации. Для этого нет соответствующих связей, в которые он мог бы включиться.

О МОРАЛЬНОМ ИНВАРИАНТЕ

Существует инерция нравственных представлений и оценок. В дистрофические времена наблюдалось любопытное явление: люди, интеллигенты в особенности, стали делать вещи, которых они прежде не делали — выпрашивать, утаивать, просить, таскать со стола в столовой кусочек хлеба или конфету. Но система этических представлений оставалась у них прежняя. А для интеллигента воровать было не столько грехом или преступлением, но скорее психологически невозможным актом, вызывающим отчуждение, брезгливость. И вот эта инерция продолжала действовать. Сунувший в рот конфету, которую оставила на столе знакомая ему бухгалтерша, мог в тот же день с искренним удивлением и осуждением говорить собеседнику: до чего все-таки у нас народ изворовался... и рассказывать по этому поводу анекдоты — вроде собственного случая с конфетой.

При этом в нем происходило некоторое психологическое раздвоение. Не то, чтобы он, совершив зло, понимал, что оно зло, и каялся. Нет, побуждения, приводившие его к подобным поступкам, всякий раз представлялись ему столь непреодолимыми, таким стихийно-глубоким проявлением инстинкта жизни, что он не хотел и не считал нужным с ними бороться. Не то, чтобы он, в момент рассказа, забывал о своем поступке или полностью вытеснял его из сознания, — но он ощущал этот поступок, как временный и случайный. Поступок не имел отношения к его пониманию жизни вообще и потому не мог отразиться на этических представлениях и оценках, выработанных всей его биографией. Он видит себя изнутри, и он видит свой поступок как отчужденный от его постоянной человеческой сущности. Другого же, своего знакомого, он не видит изнутри и воспринимает подобное его поведение в той этической связи, в которой оно обычно воспринимается. И потому про своего знакомого он с непритворным чувством непричастности и осуждения говорит, что тот «изворовался», или «одичал», или «попрошайничает».

* * *

В статьях об умственном и физическом труде Толстой производит прямой и потому, как ему кажется, неопровержимый расчет: «В сутках 24 часа, спим мы 8 часов, остается 16. Если какой бы то ни было человек умственной деятельности посвящает на свою деятельность 5 часов каждый день, то он сделает страшно много. Куда же деваются остальные 11 часов?»

Оказалось, что физический труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее».

Не будем вдаваться в вопрос о том, могла ли бы вообще существовать умственная деятельность (связь духовной культуры) при всеобщем, равномерном занятии натуральным хозяйством. Здесь интереснее психологическая сторона, бессознательная психология барина. Независимо от проповеди крестьянского труда и идеала натурального хозяйства, Толстой требует от человека, предпринявшего дело морального возрождения, чтобы он прежде всего в любых условиях, и городских в том числе, — делал все для себя сам: убирал комнату, готовил пищу, топил, доставал воду. (Толстой в Москве возил воду в бочке.) Сделав все это, он может, если уж не может иначе, предаваться своим пяти часам умственного труда.

Ведь это бессознательные представления человека, который может привезти воду для блага своей души, но может и не привезти, если, например, в этот момент к нему пришли толстовцы или духоборы и нельзя их не принять. И это рассуждения человека, который обслуживает себя в пределах готового домашнего хозяйства, налаженного чужими руками. Он привез воду, но кто-то достал бочку для этой воды, кто-то кормил лошадь, на которой ее возят. Он не думает, откуда взялся веник, которым он подметает свою комнату. Если бы он знал, как трудно, когда нужно об этом думать, когда все, что служит тебе, служит только ценой твоих личных усилий. Гений, понимавший все, этого так и не понял. А если дрова сырые, и печку только нужно раздувать часами. Как же тогда с пятью часами умственного труда?

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИТУАЦИЯ

Самое интересное в разрезе момента — это становление внутреннего согласия, очень трудное, с задержками, противоречивое, но несомненное. Как важно не упустить момент! К этому ведут и об этом свидетельствуют разные, отчасти противоречивые процессы. Все это означает, что появился моральный предел, которым не определяется целиком поведение, но к которому оно стремится и которым уже регулируются оценки. При этом и моральные навыки, и формы осуществления остались в значительной мере прежними. Но происходит как бы внутреннее перемещение соков, под пустой некогда оболочкой как бы образуется постепенно соответствующее ей живое ядро. В этом процессе знаменательную и, как ни странно, плодотворную роль играет все тот же разрыв между побуждением и поступком. Побуждения людей, непосредственные, в основном эгоистичны. Это быстро не меняется, для того чтобы это могло измениться порывом — слишком давит и связывает привычный регламент. Они избегали жертвы, где могли, — в силу своих эгоистических побуждений. Но поступки, совершаемые ими принудительно, совпали с тем моральным пределом, который их сознание вырабатывало независимо от эгоистических побуждений. Эти поступки, совпадающие с их разумным пониманием должного, ретроспективно представляются им внутренне свободными, свободно выбранными, нравственно полноценными и разумно оправданными. Во всяком случае люди избавлены от жесточайшего страдания эгоистов — сознания ненужной жертвы.

Аберрация возможна именно потому, что они не привыкли задумываться над значением частного морального акта, что они не умеют осознавать и распознавать его и им интересоваться. Они подходят к себе так же, как к ним подходит мир, с точки зрения конечных результатов, поступков, действий вовне. И с этой точки зрения оказывается, что они в основном делали то, что требовалось. Что их поведение по праву можно назвать стойким, мужественным, даже героическим. Ретроспективно они отбрасывают, вытясняют из своего поведения все, что в нем было от внутреннего малодушия, колебаний, уклонов, раздражения,

и оставляют ту схему действия, свод результатов, которая попадает в печать, в списки награжденных и т. п. И это совершенно правильная схема. У человека образуется социальная, групповая автоконцепция (помимо личной), абстрактная, но верная. Идеальное представление о себе самом как члене коллектива. И это представление обязывает. От него, как бы в обратном порядке, развиваются подлинно сверхлические побуждения. Это навсегда заработанная ценность.

Процесс этот в первую очередь сказывается, конечно, на боевом коллективе. И на таком, например, коллективе, как ленинградцы. Изнутри трудно чувствовать себя героем (это особенно не в русском характере), пока человеку не объяснили, что он герой, и не убедили его в этом. В 1941—42 годах было не до того, чтобы вслушиваться в объяснения. Сейчас оно дошло, люди поверили. Они уже устраняют из сознания, что колебались, что многие оставались в городе по внешним, случайным или личным причинам, что боялись и отчаивались, что месяцами интересовались только едой, что были злы, безжалостны или равнодушны, что прошли через самые унижительные и темные психологические состояния.

Они стирают в своем сознании побуждения и состояния и оставляют чистое действие, результат — беспримерное общее дело. Оборону Ленинграда, в которой действительно участвовали. И они правы. Ибо по каким бы причинам они ни остались, но они делали то, что нужно было городу; думая, как им казалось, только о еде, они в то же время работали; они боялись (меньше всего как раз боялись), но ходили по улицам и стояли на крышах; они бранились, но копали рвы. Казавшееся принудительным оказалось в конечном счете внутренне подтвержденным; актом общей воли.

Это приобретенная ценность, которая останется. Из нее будут исходить, на нее будут ссылаться. Слишком много будут ссылаться. Люди Большой земли уже раздражаются. Конечно, этим будут злоупотреблять, хвастать, что вообще свойственно человеку. Но лучше, чтобы он хвастал этим, нежели всякой дрянью.

Здесь твердо выработалась средняя норма поведения, которой, как всегда, бессознательно подчиняются средние люди. Потому что оказаться ниже этой нормы значило бы оказаться неполноценным. Что человек плохо переносит. Эта норма, например, не мешает склочничать, жадничать и торговаться по поводу пайков. Но она мешала — еще так

недавно — сказать: я не пойду туда, куда меня посылают, потому что будет обстрел и я боюсь за свою жизнь. Такое заявление в лучшем случае было бы встречено очень неприятным молчанием. И почти никто не говорил этого, и — главное — почти никто этого не делал.

Ленинградская ситуация — одна из характерных групповых ситуаций, отправляющихся от всеобщей. Ситуация эта проходит через несколько стадий. Беру предпоследнюю. Ее основные слагаемые: обретенная ценность и желание извлечь из нее все, что возможно (блага, всеобщее признание и чувство превосходства).

Но трагедия уже потускнела, уже все всё начинают забывать, тема надоедает постепенно. Надо усиленно напоминать, вообще напрягаться вокруг нее. Кончился хаос, сдвинутый мир, небывалые вещи и чувства. Образовался быт, очень трудный, очень опасный, в сущности, неправдоподобный, но стабилизированный, то есть такой, при котором люди могут отправлять свои человеческие функции, хотя бы и в сдвинутом виде.

И действительно, люди ели, спали, ходили на службу, ходили в театр и в гости. Все это, взятое вместе, и было то самое, что требовалось городу. Если только человек не испытывает острые физические страдания и не впадает в панику, то он непременно в любых дрякующих условиях (даже в скопах, в тюрьме, в больнице) устраивает себе если и не нормальный, то во всяком случае стабильный быт; он применяется к условиям так, чтобы совершать свои основные человеческие отправления. Решающим оказался первоначальный момент предотвращения паники. Когда это совершилось, все остальное уже стало складываться неудержимо. И когда прошли острые физические страдания, из-под них выплыл сложившийся быт, который только со стороны казался странным. Быт изнутри, по ходу переживания, вообще не кажется странным, поскольку он есть применение обстановки к потребностям. Он стал однообразным, затрудненным, несбычайно несвободным, во всем — в передвижениях, в возможности попасть туда-то в таком-то часу или вернуться домой. При этом твердо организованным, как нигде, что поражало всех посторонних. Организованность происходила отчасти оттого, что быт свелся к ограниченному числу элементов, и их оказалось проще увязать между собой.

Преобладающие состояния: переживание ценности и беспокойство за ее сохранность, переживания страшного, трудного, исключительного, ставшие привычными, переходя-

дими рефлексам, которые не мешают всему остальному. Переживание скуки, временности, ожидания выхода из собой замкнутости и несвободы, соединенное с опасениями за то, что при возвращении к обыкновенной жизни тратится обретенное превосходство, с опасениями соперничества тех, кто ничего не испытали и придут занимать места. Таков предпоследний этап.

На последнем этапе эпопея отодвинулась еще дальше и ценность ее охраняется теперь историческим пафосом. Чувство временности, ожидания возросло чрезвычайно, с ним столкнулся страх перемен, скрепление, характерное для людей, долго находящихся в невозможных условиях, которые уже стали привычными. Отсюда подозрительное недоброжелательство к возвращающимся в город.

Групповая ситуация стоит за отдельными разговорами, частными и официальными. Она их питает и дает к ним ключ.

В человеке этом уже нет ничего — ни любви, ни жалости, ни гордости, ни даже ревности. По старой памяти он все это тонко понимает, и потому может хорошо изображать даже про себя изображать. То есть он знает в точности всю цепь побуждений и поступков, вытекающих из каждой эмоции. Для того чтобы воспроизведение этой цепи было не фальшивым, а искренним (у него оно совершенно искренне), нужны какие-то основания. И эти основания у него есть. Это как бы бледные отражения этих эмоций в его сознании, как бы тени, отбрасываемые эмоциями и скользящими по его сознанию.

Едва ли не меньше еще в нем чувственных импульсов. В сущности, в нем осталась только творческая воля. Столб упорная, что она осуществляется в самых невозможных условиях. Если бы действие этой воли прекратилось, трудно даже представить себе, как и чем такой человек мог бы продолжать существовать.

* * *

На улице встреча с Антониной [Изергиной]. Рассказывает о том, как на днях они с Ахматовой в помещении Тюза получали медаль.

— Ее покрыли громом аплодисментов. Громом! Она здорово все-таки популярна. Она умеет себя держать. Какое у нее было лицо — величественное, строгое, задумчивое . . .

— Вдохновенное . . .

— А что в это время могло быть у нее на уме — только одно . . . Что она как раз перед тем увидела меня и соображала, как бы со мной сговориться устроить у вас блины . . .

СТАРИКИ ДИКИЕ И ВЕСЕЛЯЩИЕСЯ

NN говорит:

— Глядя вокруг, иногда со страхом думаю — вот мне тоже предстоит одинокая старость. Неужели я тоже лет через 15 (если буду жив...) буду скучать и вследствие этого по вечерам в темноте-мокроте пробираться в гости.

Утешаюсь тем, что с годами во мне явно возрастает физическая лень, нелюдимость и привычка к месту. Вообще, начиная с известного возраста, для человека естественно — быть дома (если его не призывают дела или прямые интересы).

Конечно, со временем мне угрожает попасть в разряд диких стариков, кончающих в полной изоляции. Впрочем, это много лучше, нежели попасть в разряд стариков, скучающих и веселящихся.

БЫВШИЙ ПРОРАБОТЧИК

Он не говорит сейчас и не делает ничего дурного (в данный момент это не нужно), но лицо это ужасающе выразительно. В нем то прямое соотношение между чертами, выражением и предполагаемой в этом человеке черной душой, которое давно уже отрицается всей психологической литературой и, в качестве устарелого и мелодраматического, оно как бы выведено за пределы житейской реальности. Но вот мы видим это самое: действительно бегающие глаза в припухлых мешках, костистое лицо, обтянутое зеленоватой кожей; острый нос, узкий рот. Тягуче-равнодушные интонации, которые всегда кажутся наглыми, даже когда они не могут быть наглыми; например, когда речь идет о высоких материях и инстанциях. Словом, это столь примитивное и устарелое (вышедшее из употребления) соотношение между постулируемым содержанием и формой, что оно сбивает присутствующих с толку.

II

**ЗАПИСИ
РАЗНЫХ ЛЕТ**

* * *

По поводу этих записей я сказала Андрею Битову:
— Человек записывает чужие разговоры, а его за это хвалят. Несправедливо!
— Так ведь их еще надо выдумать,— сказал Андрей.

ОБСУЖДЕНИЕ СТИХОВ

Выявился этот кочетовский комплекс по случаю обсуждения в Секции поэтов двух молодых — Кушнера и Сосноры.

С определенными намерениями на обсуждение пришли несколько человек из некоего литсбъединения. Пришедшие — молодые, но страшные. Они из того материала, из которого, при случае, делаются люди 49-го. Эти в недоразвившемся состоянии; притом сейчас они не уверены в исполнении желаний. А было им обещано, что бездарность, невежество и предательство — достаточные предпосылки для преуспеяния.

Разумеется, этим качествам давались другие имена; употребляли их даже отъявленнейшие из проработчиков, даже наедине с собой. Псевдонимом невежества была принадлежность к своим, к новым, народным кадрам. Псевдоним бездарности — неотличимость изобретателя и героя от каждого и от всех. Он замечательный, но он метафизически равен простому человеку. Отсюда обратный логический ход: следовательно, каждый может быть замечательным. В организованном обществе все, однако, не могут быть самыми замечательными, но только те, которых организовано назначают — поэтами (члены СП), учеными (старшие и младшие сотрудники) и прочее. Суть, значит, в том, чтобы получить такое назначение.

Что касается подлости, то для нее псевдонимом во все времена служили общественные (государственные) интересы, так приятно совпадающие с частными.

После смерти Папковского, одного из деятельнейших проработчиков 49-го, Друзин, встретив Берковского, сказал: «Вот мы и похоронили Бориса Васильевича. Вы думаете, это легко — общественное мнение против, большинство осуждает... А его ничто не могло остановить. Сгорел человек».

Людей 1949 года мы тоже знали молодыми. Гуманитарная интеллигенция, занятая собой, самонадеянная и безрассудная, думала смутно: так себе, неотесанные парни... А там шла между тем своя внутренняя жизнь — к ней никто не считал нужным присмотреться — исполненная

злости и вожделений. Интеллигенты думали сквозь туману, при всей неотесанности, они не могут не понимать, что науку делают образованные. Эту аксиому пришлось как-никак признать.

Доверие к непризнанной аксиоме погубило многих. Своевременно не угадавших, что люди 49-го не были самотеком, но людьми системы, которая, включив гуманитарную в свой идеологический механизм, меньше всего нуждалась в ее научной продукции. Г. Г. со свойственной ему в подобных делах наивной игривостью говорил (уже накануне событий) — теперь я буду управлять секцией критиков, а в помощь мне приставили Лесючевского. Он же похлопывал ВБ по плечу, устраивая его в университет: «Хорошо иметь на кафедре двух-трех кондовых — на страх враждебным академическим сухарям или образованным дуракам (вроде Б-а.)»

Люди фланировали над бездной, кишевшей придавленными самолюбиями. Пробыл час — они вышли из бездны. Проработчики жили рядом, но все их увидели впервые — осатаневших, обезумевших от комплекса неполноценности, от зависти к профессорским красным мебелькам и машинам, от ненависти к интеллектуальному, от мстительного восторга . . . увидели вырвавшихся, дорвавшихся, растоптавших.

Сегодняшних мы узнаем в лицо. Это те самые, которые убивают и пляшут на трупе противника. Но они смущены. Будущее, обещанное, бесспорное, затуманилось вдруг невозможностью логического развития. Они теперь включены в перемежающуюся игру гаек. Гайка раскручивается — и тотчас же все расплзается в разные стороны; гайка закручивается, и на данном участке наступает полное несуществование. Тогда гайка раскручивается . . . Сам по себе этот механизм не так уж им страшен. Цепкий жизненный инстинкт твердит, что раскручивание противостоит естественно, недолговечно. Пугает их живая сила (тесными рядами здесь сидящая) — ее молодость, злоба, ум, темперамент. Они знают, какими средствами эту силу обуздывают, и не уверены, что средства своевременно будут применены. Без средств же они беспомощны. Они косноязычны, над ними смеются, они не то говорят. Бьется истерзанное самолюбие.

То ли дело, когда их старшие братья рвали, топтали, хлестали в лицо на многолюдных собраниях, — а те униженно каялись или молчали, бледные, страшные, молчали, прислушиваясь к подступающему инфаркту. То ли дело,

когда в переполненном университетском зале Бердников кричал Жирмунскому: «А, вы говорите, что работали сорок лет. Назовите за сорок лет хоть одну вашу книгу, которую можно дать в руки студенту!» А в зале Пушкинского дома ученик Азадовского Лапицкий рассказывал собравшимся о том, как он (с кем-то еще) заглянули в портфель Азадовского (владелец портфеля вышел из комнаты) и обнаружили там книгу с надписью сосланному Оксману. Азадовский, уже в предынфарктном состоянии, сидел дома. После собрания Лапицкий позвонил ему, справляясь о здоровье. Молчание. «Да что вы,— сказал Лапицкий,— Марк Константинович! Да неужели вы на меня сердитесь? Я ведь только марионетка, которую дергают за веревочку. А режиссеры другие. Бердников, например...»

Сам Смердяков мог бы тут поучиться смердяковщине.

Сегодняшних же потенциальных разгромщиков гложет тайная робость. В молодой навстречу им вставшей силе страшной всего то, что она демократична. Ей не пришьешь барство или стилижество. Почти все плохо одеты. Разве что кой у кого волосы мохнатые. Брюки, если и узкие, то дешевые. Впрочем, этико-политическая проблема узких брюк постепенно теряет сзой накал.

Из сидящих здесь молодых почти никто еще не стал профессиональным литератором. Правда, многие об этом мечтают; но пока что они токари и инженеры, учителя и геологи. Они из тех пока, чьим трудом дышит страна. Они претендуют на то, что они-то и есть нормальные советские люди. В печатной форме оно, конечно, легче, потому что не видишь и, особенно, не слышишь противника. Устно же с ними трудно. Трудно, когда смеются.

Наступление начал Кежун в перерыве. Разговор кулуарный, потому что он, к сожалению, должен уйти. Ему больше нравится Соснора, потому что это ближе к жизни. У Кушнера — все книжно, все литература.

Суждение заранее заданное. На самом деле сугубо литературен Соснора с его ритмическими изысками. Но про Соснору почему-то решено, что он более свой (фамилия? работа на заводе?); решено главным образом в порядке противопоставления Кушнеру. Следовательно, Соснора не интеллигентский, не книжный, не космополитический. И не о нем будет речь.

Сначала высказываются уже принятые в Союз писатели. Слово предоставляется молодому поэту. Все сразу должны

понять: это критика не с каких-нибудь замшелого-реалистических позиций. В ней, напротив того, слышится поступь атомного века. — Знакомые ребята, физики, мне рассказывали . . . Далее — о кибернетических машинах и кибернетической информации — . . . так вот у Кушнера больше информации. Но мне это чужое. Я тут не вижу активного отношения к жизни. Соснора мне ближе по духу, но его стихи, надо признать, — содержат мало информации, то есть мыслей.

За кибернетической критикой следует почвенная. Другой молодой поэт — большой, худой человек, темноволосый, с большим лицом, правильным и несколько деревянным. Выступление кондовое, но с парадоксом. Противник признан. Вообще, и через враждебные речи проходит мотив относительного признания (огульное охаивание и дубинка запрещены). Эта же речь вся на кокетливом парадоксе — приятия неприемлемого. Он первый начинает настоящий, большой разговор. «Прямо режу: замечательный поэт. Да, мне это не близко. А я говорю — замечательный. Через «не хочу» говорю. Мысль в его стихах признаю. А его тут похлопывают, поглаживают. Чего вы мельтешитесь? — Когда перед вами поэт. Настоящий. Только зачем было аплодировать? Здесь не театр. Люди пришли для серьезного разговора. Это все дружки, дружки. Вот тебе аплодируют, поэтому у тебя до сих пор и нет книги (проговорился: потому что ты представляешь движение умов. Одного, случайного признать можно, течение — признать страшно). Ты их не слушай, выходи на широкую дорогу».

Непредусмотренное великодушие выступающего (архисвоего) — это была уже путаница, деморализовавшая тех, кто подготовил скандал. Вышел паренек в клетчатой рубашке с расстегнутым воротником и сказал: «Я ничего не понял . . .» Формула эта считалась без промаха разящей. В пастернаковские дни ее мощно развернул Кочетов, в «Литгазете», в письме некоего производственника: «Поэт Пастернак? Г-ы-ы-ы! Что-то я о таком не слыхивал. Вот про Имярека и Имярека действительно знаю, что они поэты. Читал. А Пастернак — этот что-то мне не попадался . . . Ха-ха!»

Сработало. Но это на бумаге, которая терпит, а живые слушатели не терпят; они откликаются грозным смехом. И в этой голове, быть может, впервые в жизни шевелится: а так ли уж это хорошо: *не понимать*, так ли почетно . . . Я ничего не запомнил . . . (а нужно ли этим гордиться?)

— Мне больше нравится Соснора, потому что, слушая его, я почувствовал себя русским.

Последнюю фразу, под неясный шум аудитории, он произносит робко. Такие фразы не произносят робко. Еще Козьма Прутков сказал: «Доказано опытом, что нельзя командовать шепотом».

Довольно молодой, но уже толстый человек говорит опять о вреде аплодисментов (подразумевается интеллигентская групповщина): «Вот вас уже предостерегали против дружков, которые заводят на дурную дорогу». И опять об аплодисментах. Наступление идет вяло.

Руководитель объединения хочет поднять тонус. Он выходит на середину комнаты, и лицо у него заранее испуганное. И, кажется, он боится не столько молодой аудитории, сколько чего-то другого, что он силится рассмотреть буравящими глазами.

— Объявили великими поэтами . . . Что же это такое?

Голоса: — А кто это говорил? Кто?

— Так у вас получается.

Голоса: — Ах, получается . . .

— Я ничего не говорю — у него есть хорошие стихи (не допускать огульного охаивания, не допускать огульного охаивания). Но зачем же так, через край (не допускать огульного захваливания, не допускать . . .). А у него замкнутый мирок, мелкотемье. О Сосноре — мне он нравится больше, своим оптимизмом — меньше говорили, но тоже: талант, талант. Сколько талантов . . . Правильно тут сказано — как Кушнера захваливают дружки. Его ругать надо — для его же пользы.

Недобрый смех. Голоса: — Ну, этого было довольно. С него хватит!

— Ведь как тут сегодня говорили, не говорят о наших настоящих, больших ленинградских поэтах . . .

Любопытно — кого, кроме Прокофьева, он имеет в виду — Решетова? Авраменку? Вероятно, никого персонально. Не это важно. Важно, что не по чину хвалили. Опасное положение. В опасности, главное, его, сратора, назначение поэтом, дающее возможность не заниматься общественно полезным трудом.

И тут выступил человек, решивший нанести главный удар. Совсем молодой, очень худой, очень рыжий, лицо лезвием, без фаса, с резким преобладанием носа, глаза узкие. Пиджак поверх черной рубашки без галстука. Рабочий (этим здесь, кстати, никого не удивишь; Соснора, например, работает слесарем), член литобъединения и

заочник II курса Литинститута в Москве. Он решил сказать то, что другие думали.

— Вы меня извините. Тут все грамотеи сидят...

Когда году в девятнадцатом подобное говорили люди в непросохших красноармейских шинелях — это было словом нового исторического слоя, поднимающегося к культуре. Ну, а на сорок пятом году революции, что это такое? В стране, где задумана уже всеобщая десятилетка? — ничто иное, как гарантия *простоты*, верный признак принадлежности к своим.

— Если кто не так слово скажет, сразу шушукаются, пересмеиваются...

Растравленное самолюбие, кочетовский комплекс.

— Так уж вы извините, если не так скажу. Не привык выступать перед такой аудиторией...

Ирония. Подразумевается: хорошо, что он *так* не умеет говорить. Нехорошо — в частности поэту — быть интеллигентным. Он не грамотей. Он тот, кому годами внушали, что он есть мера вещей, тот, который не слыхивал... И все, про что он не слыхивал — это космополитические происки.

— Конечно, есть у Кушнера и хорошие стихи. И книга у него будет. Все это так. Но какие тут темы? Он засел в своей комнате. Увидел графин — написал про графин. Лев Мочалов, по-моему, убил Кушнера своим выступлением, когда сказал про него — этот поэт прежде всего интеллигентный человек...

Неприятный смех.

— Поэт должен брать большие темы...

Голос: — Нет ничего легче, как мелко написать о космосе.

Семенов с места объясняет, что художники разными способами выражают свое отношение к жизни: — Почему вы лишаете поэтов свободы выражения?

Но рыженький слушает нетерпеливо, потому что он еще не сказал самого главного.

— Когда Кушнер был у нас в литобъединении, его спросили, поехал бы он в пустыню? Он ответил — нет, я бы не поехал.

Смеются. Голоса: «Зачем ему пустыня? Еще если б Мочалова в пустыню, — он хоть Лев. А этому зачем?»

Насчет пустыни это о том, что отсиживаются, и о том, что писателям вредно жить в столицах. Это на подступах к самому главному. Нужно скорей сказать главное, пока не помешали.

— От имени кого выступает Кушнер? От имени мещанина...

Шум. Голоса:— А ты, а вы — от чьего имени?

— Я от имени советского человека.

Голоса:— А здесь что — несоветские сидят?

Должно быть рыжему страшно. Он храбро повторяет:

— Я говорю — это написано от имени мещанина...

— А ты, знаешь от чьего имени... от имени мракобеса! Хватит! Ступай учиться!

Председательствующий Браун, установив кое-как тишину, объясняет: «Не нужно волноваться, не стоит придавать значение. Выступающий — просто жертва неправильного воспитания. Слишком долго его приучали ценить в искусстве одни плакаты и лозунги, не принимая во внимание художественное мастерство. Тогда как без художественного мастерства...»

Откуда берутся проработчики? Какой именно человеческий материал употребляется на это дело? Разумеется, были среди них садисты, человеконенавистники, холодные и горячие убийцы по натуре. Это в той или иной мере патология, и не это типично. Мы не верим в прирожденных злодеев. Мы верим в механизмы. В двадцатом веке наука о поведении любила орудовать механизмами (условные рефлексы Павлова, механизмы вытеснения Фрейда, бихевиористы...). В данном случае работает простой социальный механизм, хотя иногда и дающий довольно сложные психологические последствия. От гуманитарных деятельностей хотели отнюдь не их существа, но совсем другого. И соответственно поручали их людям, приспособленным к другому и полностью неспособным, а потому полностью равнодушным к выполняемому. Это непреложный закон, ибо способные непременно внесли бы в дело нежелательную заинтересованность по существу. Талант — это самоотверженность и упрямство. Так бездарность стала фактом огромного, принципиального общественного значения.

Но тут начинается драма этих людей и, уж конечно, тех, кто попадает на их дороге. Самодовольство — чаще всего только оболочка. Усилия удержаться (чтобы не заменили случайно умеющими) — это непрерывное зло и обман, от больших преступлений до малых бессовестностей.

Но механизм применения неподходящих втягивает всех — обыкновенных людей, хороших людей, к какому-то

делу способных. Он прежде всего умерщвляет в них волю к продуктивному труду, тем самым и совесть. Как знать, может быть бездарные молодые поэты могли бы стать настоящими рабочими, инженерами, летчиками, моряками.

Комплекс не на своем месте сидящих и встречный комплекс оставленных без места — сходны по составу: неполноценность, грызущее самолюбие, зависть. Они друг другу завидуют, два типических современника, — не осуществивший свои способности и не способный к тому, что он осуществляет.

* * *

На одном диспуте двадцатых годов, Шкловский сказал своим оппонентам:

— У вас армия и флот, а нас четыре человека. Так чего же вы беспокоитесь?

* * *

В Союзе писателей как-то объявился датчанин, на которого всех зазывали. Он, через переводчицу, нес ахиною о датской литературе и экзистенциализме. Главная идея состояла в том, что экзистенциализм — и есть реализм, поскольку писатели этого направления, — как явствует из самого его названия, — изображают *существующее*.

Благодушный докладчик — представитель администрации Королевского театра. У него брюшко, свежие щеки, сигара, перстень. Облик, вполне предусмотренный нашими пьесами из капиталистической жизни.

На доклад пришел кое-кто из сотрудников литературоведческих учреждений. Икс смотрел на датчанина с сигарой, не отрываясь, и его лицо, большое, белесое, веснушчатое, с сонными веками, выражало заинтересованность и что-то похожее на умиление. В перерыве он задавал сангвиническому датчанину вопросы, ласково и осторожно, как будто боялся руками старого проработчика нечаянно повредить это хрупкое существо.

С Иксом разговаривал барин. Пусть глупый барин, но чистый, душистый, из другого теста сделанный и, главное, искони неприступный для его наводящих порядок акций. Он смотрит на Икса своими круглыми глазами, вовсе не понимая, как страшно то, на что он смотрит. Барин не битый, не проплеванный...

Матерый холуй — управляющий, приказчик, дворецкий — с умильно-почтительным снисхождением относится к неловкому и ученому барчуку. И он же готов сжить со света своего брата, грамотного крепостного; за то, что смерд — начитавшись — возомнил о себе.

1956

* * *

В Гослитиздате готовили «Избранное» Ольги Форш. Редактор сказал ей: «Вы уж, Ольга Дмитриевна, постарайтесь отобрать рассказы, которые бы лезли в ворота сегодняшнего дня».

* * *

Журналистика во все времена разговаривала на разных языках, предназначенных для разных слоев общества. Орган печати имел обычно свое языковое лицо, обращенное к тому или иному читателю. Сейчас это можно сказать только об изданиях ведомственно-профессиональных или сугубо массовых (рассчитанных на ограниченную грамотность). Вообще же существует несколько допущенных языков, и орган печати, ориентированный на среднеинтеллигентного читателя имеет соответственно разные языковые коды.

Например, «Вопросы литературы». В № 7 за 1978 г. в статье «К 150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского» сказано: «Наше зрелое социалистическое общество, создавая материальную базу коммунизма и его культурно-духовные предпосылки, воспитывая всесторонне развитую личность, способную осуществить великий принцип ассоциации будущего, по которому свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех, вновь под углом зрения этой грандиозной задачи пересматривает прошлое человечества, выдвигая в нем на первый план все то, что готовило всемирно-исторический поворот нашей современности. Традиции истинного гуманизма занимают в этом наследии одно из центральных мест».

«Одно из центральных мест...» — микрокосмос всей этой стилистики. Остальное типовой набор, сниженный здесь в одну фразу. Официальный язык мыслится как языковый фонд, всеобщий и обязательный. Некогда он считал себя единственно правомерным и все другое рассматривал как враждебное; по крайней мере, излишнее. Теперь, напротив того, каждый имеет доступ к языковым

кодам, в которых выражены несовпадающие установки общества.

Так, в № 9 «ВЛ», наряду с образцами официальной речи — статья А. Марченко «Ностальгия по настоящему» — это о стихах Вознесенского. Вознесенский, после настойчивого сопротивления, разрешен был в качестве изыска, показывающего возможности многообразия и свободу дерзаний. Несколько человек включены в этот разряд; новому же, начинающему проникнуть в него невозможно.

«Конечно, Вознесенский с его феноменальным нюхом мог бы отыскать все эти запятнанные сейчасшностью материалы и сам, без помощи королей «сыска». Но ведь ему некогда, он торопится, он берет «звуки со скоростью света»... Куда выгоднее и удобнее «пеленговать» не отдельные выдающиеся предметы настоящего, а крупные скопления их!.. Неважно, где и как собрано, важно, что сбором (или сбродом) руководили не воля и разум, а Случай, обручивший «хлеб с маслом» и «блеф с Марсом!» Случай ведь слеп, и ему все позволено!.. Но в этой страсти к вещам нет вещизма. Вещь для Вознесенского, тем более вещь, вырванная из обычного житейского ряда, — не вещь, а материализовавшееся время...»

Казалось бы, это обращено к совсем другому человеку, ничего общего не имеющему с тем, которому положено читать про одно из центральных мест в наследии традиции истинного гуманизма. Вовсе нет! — по замыслу все это предназначено для того же читателя. Наряду с ритуальной литературой, ему предложена литература, ласкающая в нем сознание интеллигентности. Предлагаются ему и другие коды.

В том же 7-м номере, например, В. Молчанов в статье «Война против разума» информирует читателя о новейших приемах манипулирования человеческим сознанием. «... Личность переживает два типа психических состояний: либо «митридатизацию», либо «сенсibiliзацию». «Митридатизация» — иммунитет к пропаганде (никакой яд не действовал на жившего в древние времена царя Митридата: он постоянно принимал противоядия, прозванные по этой причине «митридатовыми средствами»). «Сенсibiliзация» — повышенная чувствительность к промыванию мозгов... Митридатизированного не удивишь новым мифом, в какой бы яркой оболочке тот ни подносился. Перекормленный пропагандой, он заранее знает цену любой идеологической фантазии. Но тем, кто занимается пропагандистским мифотворчеством, можно быть спокой-

ным за митридатизированного: он не пойдет против мифа, а, не говоря ни слова, подчинится ему. Автоматически, по привычке.

«А сенсублицированного каждый новый миф будоражит... Такая сверхчувствительность — нездоровая. Она действует на пропагандируемого, как водка на алкоголика. Сенсублицированный... находится в постоянной готовности сигануть вниз головой в мутный идеологический омут».

Информация в кавычках — не только цитирования, но и иронии. Фразеологию обезвреживает прививка вульгарно-разговорных слов: *перекормленный*, *сигануть* (тоже своего рода «митридатовы средства»).

К современной структурно-кибернетической, социологической, биологической терминологии чрезвычайно развился вкус. Но собственные структуралисты и прочие подозрительны. (Хотя вполне и не запрещены.) Данный же языковой код — это современная фразеология, направленная против себя самой. Выполняя тем самым свое задание, этот код одновременно несет с собой радости чувства превосходства над непросвещенными и утоляет жажду интеллигентности.

Наряду с этим стилем, современно-информационно-разоблачительным, есть еще стиль традиционный, но обязательно парадоксальный. Это стиль статей Кожина. В 9-м номере он представлен под вполне академическим заглавием «Русская литература и термин «критический реализм». «В гротеске Гоголя, как совершенно верно сказал Пушкин, «крупно», «ярко» с необычайной «силой» выставлена обыкновенность обыкновенного человека. Это связано со специфическим трагедийным комизмом, типичным для искусства барокко. Комизм этот может органически вбирать в себя и уже собственно трагедийные элементы, и даже героинку (скажем, образ тройки в «Мертвых душах»). И, конечно, так называемые «романтические» произведения Гоголя вполне однородны с «критико-реалистическими»: различие здесь только, так сказать, в предметах, а не в творческих принципах».

Обыкновенность ярка, комизм трагичен, романтизм реалистичен — эти складные парадоксы также имеют свое назначение в данной культурной системе. Они свидетельствуют о поощряемости дискуссий. Дискуссионность, способная порождать обстоятельные контрстатьи, собственно, и является единственным их содержанием.

Вот вам под одной крышей четыре из допущенных стилей: ритуальный, элитарный, разоблачительно-информационный, почвеннически-дискуссионный. Можно заглянуть наугад под другую крышу — «Литгазеты» нынешнего года.

Отчет о собрании: «Можно с удовлетворением сказать, что благодаря усилиям парткома, секретариата, творческих объединений и первичных партийных организаций в писательской организации столицы создана обстановка, благоприятная для плодотворного творчества . . .» «Активнее способствовать появлению высокохудожественных произведений, посвященных актуальным проблемам социального и экономического развития . . .» «Руководству и партийной организации Московской писательской организации надо серьезно поработать, добиться устранения недостатков, дальнейшего повышения боевитости критики, усиления партийного влияния на творческий процесс . . .»

Замечательна здесь полная адаптация таких слов как — творчество, художественный, критика, которые могут ведь означать и совсем другое. Они не только перемолоты общим контекстом, но включены в цепкие словосочетания, из которых хоть сколько-нибудь высвободиться нет никакой вероятности: творческое объединение, высокохудожественный, боевитость критики . . .

Язык этот предстает (это входит в его определение) как безраздельно господствующий, всепоглощающий, единственно возможный. Казалось бы, если он существует, то что еще рядом с ним может существовать? Но через три страницы мы встречаемся с продолжением дискуссии «Мир и личность», по ходу которой Коба Имедашвили утверждает: «Да, сегодня нам предлагают поэтический миф, «коллаж», внутренний монолог . . . Усвоить их во всей полноте нелегко — это работа, читательское творчество . . .»

А в соседней статье Татьяна Глушкова требует ренессансной раскованности поэзии: «Чтобы понять прекрасное стихотворение Байрона, стихи Пушкина о черепе как об «увеселительной чаше» и «собеседнике» — «для мудреца», надобно решительно отбросить методы современной «нравоучительной» критики, слишком упрощенные для данных масштабов личности, творчества. Надо отказаться от апелляции к схематическому, условному «нравственному чувству», не менее похожему на «бесчувственность», чем неоспо-

римое какое-нибудь глумление. Надо отрешиться от «церковных» представлений о «кощунстве» и богобоязненной «нравственности» и стать на точку зрения культуры европейского гуманизма. Именно ренессансный дух (а не осквернение, поругание — «кощунство») проникает пушкинское стихотворение . . .»

На 1—2-й страницах язык, порожденный презумпцией всеобщей неправоеспособности, представлением об обществе как иерархии воспитывающих одна другую прослоек (читателей воспитывает писатели, писателей воспитывает секретариат, секретариат воспитывает первичная партийная организация и т. д.). А на 5-й странице читатель вместе с писателем творит поэтический миф и призывается по-ренессансному отнестись к нравоучениям.

Очень важно притом, что призывают не какие-нибудь стоящие вне игры, но свои, в дискуссиях участвующие, со всей серьезностью, даже идею русского ренессанса излагающие по Кожинову. Это значит, что язык с мифотворчеством и ренессансом общественно необходим.

Общество сейчас устроено так, что если бы язык 1-2-й страницы действительно распространился на все проявления жизни, — он бы их прекратил. Он лишен сейчас всякого реального содержания и непосредственного контакта с действительностью. Пользующиеся им преследуют совсем иные — не коммуникативные — цели. Но цели эти важны, и служащий им язык обладает большой силой. Он напоминает о стабильности и о границах возможного. О том, что всё и все — на своих местах. Он представляет собой могущественную систему сигналов — сигналов запрета и поощрения и, с другой стороны, сигналов изъясления готовности. Это отвлеченный код управления, и на этом его функции кончаются. Там, где требуется хотя бы немного реального содержания, он, скрепя сердце, уступает дорогу другим языкам.

Читатель давних лет читал в адресованном ему журнале то научную статью, то бойкий фельетон, то лирическое стихотворение. Но все эти жанры рассчитаны были на человека единого языкового сознания. Вышеописанные коды предполагают другое: отсутствие целостного сознания, как мироотношения, и человека — носителя множественности языков, осуществляющих разнонаправленные задачи социального механизма.

* * *

Юбилей Блока. Чудовищно раздувшееся мероприятие. Устрашающее обнажение юбилейной механики, именно потому, что работает она на неподходящем материале, и на свежем. Юбилей Пушкина давно вошли в привычку, автоматизировались. А здесь все первозданно. Первозданные контакты Блока с секретарями райкомов, заведующими музеями, редакторами газет, директорами школ, из которых каждый норовит убрать из Блока что-нибудь лишнее.

Интеллигенты ужасаются, но в то же время вовлечены в игру самолюбий, сопровождающую любое мероприятие. Кто куда приглашен? Где и как упомянуты его работы? В какой витрине будет выставлена монография о Блоке? Может быть и с портретом — не Блока, а автора. Интеллигент вообще не уважает чины и ордена, звания и мероприятия и одновременно испытывает удовольствие от своей к ним причастности. Икс высокомерно смотрит на юбилейную суету, но попробуйте недодать ему в этой связи почета. Игрек негодует на пошлость, но, конечно, польщен тем, что он в юбилейном деле фигура, что он представляет учреждение и его расспрашивают репортеры.

Не помню, в каком году (не так уж давно) сделан был донос на Дмитрия Евгеньевича Максимова, проагандирующего в университете декадента и мистика Блока — и дело это разбиралось со всей строгостью.

Сейчас Блока внедрили в сознание начальства, большого и малого. Как он там переваривается? — Вероятно, в силу того, что существует, как многое другое, не в своей реальности, а номенклатурно. Появился номенклатурный Блок (певец революции), а в реальность «Распутий» или «Снежной маски» не заглядывают.

К. сказал по этому поводу: «Функционеры привыкли выслушивать доклады не слушая; в том же роде у них и с поэтами.»

* * *

Всю жизнь пишу о реализме, но, в сущности, меня никогда не интересовала практика среднего реализма (средний романтизм, впрочем, еще хуже). Интересовали меня, с одной стороны, — Толстой, Чехов; с другой — самый принцип психологического реализма.

Гоголь, Достоевский, Салтыков не включаются в его пределы. Из русских прозаиков XIX века, которых хочется читать, остался еще Лесков. Не знаю, включается ли он, — поскольку последний критерий реализма — детерминированность человека и детерминированность процесса поведения.

Есть и сейчас носители дремучего реализма. Они пишут так, как если бы XX века — включая и Чехова, — никогда не существовало. Разве что Куприн. Как если бы не было и Горького, который писатель XX века; особенно в «Климе Самгине».

Все это литература самодействующей темы. Без всякой писательской мысли.

* * *

Секретариат СП поздравил меня с 85-летием. Текст, помещенный в «Литературной газете», напоминает театральную рецензию, написанную рецензентом, который не видел спектакля.

Поздравление исходит из того, что должно было быть. Я, по их мнению, очень хороший ученый, и я жила в Ленинграде. Из этого соотношения вытекает: «...многолетняя преподавательская и общественная деятельность, неразрывно связанная с Ленинградом — городом, где Вы перенесли блокаду, где в самые тяжелые годы звучало Ваше страстное слово писателя-гражданина, где воспитаны десятки Ваших учеников». На самом деле, после Института истории искусств 20-х годов, учеников у меня не было, потому что ни один ленинградский вуз не пускал меня на порог. Меня запретили. По-настоящему, штатным доцентом я преподавала за свою жизнь три года — в Петрозаводске.

Страстное слово писателя — это скорее всего «Записки блокадного человека», прозвучавшие через сорок лет. А во время блокады я в качестве редактора Ленрадиокомитета тихо правила чужие военно-литературные передачи.

Совсем не тот спектакль.

* * *

Галя Муравьева говорит, что моя этика допускает опрокинутую формулу: средства оправдывают цель. Народовольцы, скажем, оправданы, потому что их средства требовали самоотвержения.

Современные террористы, впрочем, тоже рискуют жизнью, — но вызывают у меня отвращение. Рискуют и бандиты. Риск сам по себе не этический факт. Опрокинутая формула работает, если средства подключить к определенной связи нравственных мотивов.

* * *

Л. не согласен с моей трактовкой Олейникова. Стихи Олейникова для него сплошь пародия. Это то направление современной науки о литературе, которое не допускает, что у литературы могут быть контакты с действительностью. Поэзия — это цитата или пародия. То есть перевернутая цитата.

* * *

Мне рассказали: человек смертельно болен, и он знает об этом. Его посетила знакомая женщина. Сиделка приготовила кофе. Исхудалый, неузнаваемый, он сел к столу и пытался поддерживать разговор. И во время разговора два раза внезапно заплакал.

О, только бы тот, кто знает,— не плакал. Пусть он испытывает ужас, возмущение, отупение, злобу... Только бы не эту по последнему счету бессильную, нестерпимую жалость к себе...

* * *

Коля Кононов рассказал мне, что у него есть знакомая чета, которая необыкновенно активно и заинтересованно ненавидит мои эссе и все, что я пишу. От текстуального воспроизведения их суждений он из вежливости уклонился.

Чем-то это мне понравилось. Значит, пробирает.

Коля объясняет: это потому, что я говорю о том, чего они не хотят знать, хотя знают (о смерти, например).

— Вы вообще говорите о том, о чем нельзя говорить.

1988

* * *

В автобусе пьяный пристаёт к трезвому соседу, который старается его не замечать. Пьяный как-то наткнулся на тему ленинградской блокады.

— А ты не веришь, что тогда людей ели?

— пауза —

— Нет, ты, я вижу, не веришь...

— пауза —

— Да и как не есть? Хлеба — 125 граммов; сыт не будешь.

1987

* * *

В одном из младших классов учительница дала детям домашнее задание: выучить наизусть пушкинского «Анчара» до половины.

* * *

В «Правде» от 7 декабря 1986 года помещен отчет об учредительном съезде театральных обществ. Там между прочим читаем: «Счастье в том, что в наше время мы наделены тремя сокровищами: свободой слова, свободой совести и благоразумной осторожностью в пользовании ими,— сказала председатель правления Узбекского театрального общества Б. Р. Кариева».

1987

* * *

Все ругают безымянную серую литературу; в том числе самые серые. Точно так же обстоит с бюрократией. В словаре два значения этого слова: «1) Лицо, принадлежащее к бюрократии. 2) Должностное лицо, выполняющее свои обязанности формально, в ущерб делу, волокитчик».

Мы употребляем слово во втором значении — оценочном, а следовало бы употреблять в первом — констатирующем. В этом первом смысле бюрократ не преходящее зло, но необходимая принадлежность системы, при которой государству принадлежит всё. Бороться с ним, следовательно, бессмысленно. Хорошо бы его хоть причесать.

* * *

Какая уверенность руководства в десятилетиями воспитанной общественной дисциплине. В том, что все точно знают, как именно расположено *от* и *до* разрешенного говорить и где в каждый данный момент начинается пространство умолчания. Уверенность в том, что публично никто не нарушит таинственное условие. Какое безошибочное чутье зоны возможного, ее пульсации, сужений и расширений.

1987

* * *

Не станет ли скучно, если постепенно перестанем удивляться: как, и такое можно напечатать?

Но эта скука будет положительным политическим фактом.

1987

* * *

200-летие со дня рождения Батюшкова. Маленькая газетная заметка. Она начинается: «*Предшественник Пушкина. Духом свободомыслия было проникнуто творчество великого русского поэта Константина Николаевича Батюшкова*». Здесь в тринадцати словах сосредоточена работа по меньшей мере трех сильно действующих социальных механизмов. Во-первых, привычка к чиновничеству Пушкин самый главный начальник, и нужно как можно больше ему кланяться. Батюшков сам по себе не релевантен, он — *предшественник*. Во-вторых, привычка к политическому передергиванию. В Батюшкове, для вящего славословия, крупным планом показано вольнолюбие. В-третьих, привычка (со сталинских времен) к гигантомании. Батюшков поэт пленительный, но великим его никогда не называли, и это как-то совсем к нему не подходит. И все это приходится на тринадцать слов.

Какая емкость безмыслия!

1987

* * *

Интервью с функционером Академии художеств. Суть его высказываний сформулирована так: «...Уже не в первый раз приверженцы модернизма пытаются «потеснить» реалистическую станковую картину. Вот и сегодня под видом перестройки кое-кто пытается рассматривать ее как застойное явление, как стереотип, который, дескать, надо сломать. За этой атакой мне видится попытка ревизии марксистско-ленинской эстетики, фронтального наступления на принципы искусства социалистического реализма». Интервью в целом — развертывание этой формулы (на пяти газетных столбцах).

Но есть там одна маленькая фраза... Ведущий беседу спрашивает — а не следует ли из вышесказанного, «что такого рода (модернистского) выставки вообще не следует устраивать?» И функционер отвечает: «Запретительство

в искусстве (разумеется, кроме пропаганды антисоветизма, расизма, порнографии) неприемлемо. Оно дает обратные результаты».

Маленькая фраза стоит многого. Вдохновители бульдозеров, которые кромсали неканонические полотна, почувствовали, что запретительство — такое ясное и успокоительное — сейчас не срабатывает, что надо к этому приспособливаться — приспособливаться они натренированы.

Так маленькая фраза свидетельствует о больших изменениях.

* * *

Вот человек написал о любви, о голоде и о смерти.

— О любви и голоде пишут, когда они приходят.

— Да. К сожалению, того же нельзя сказать о смерти.

* * *

В квартире Пушкина новая экспозиция. В спальне Пушкина — проходной по тогдашнему анфиладному принципу — поставили ширму, за которой нет ничего — к разочарованию заглядывающих за ширму посетителей.

Один из них спросил экскурсовода:

— Скажите, а Дантес тоже жил в этой квартире, когда женился на Екатерине?

* * *

Прочитала в газете: почтовые отделения со скрипом выдают бланки для подписки на журналы и газеты. Оказывается, они перешли на хозрасчет и экономят поэтому на долях копейки (1000 бланков стоят два рубля).

В магазине из рук в руки вручают незавернутую селедку. «У нас теперь нет бумаги — хозрасчет» — отвечает продавщица на вопрос растерянной покупательницы.

Б. рассказал мне, что теперь поликлиники должны как-то оплачивать больничные койки, поэтому амбулаторным и участковым врачам дали понять, что им следует, по возможности, воздерживаться от госпитализации.

Наличие хозрасчета может быть направлено против того же самого человека, против которого было направлено

отсутствие хозрасчета. Этот человек — достающий, в очередях стоящий, подвергаемый лечению — нерентабелен, как бывают нерентабельны предприятия. И он не имеет выбора. Поэтому он, когда привычно не предъявляет требований, является предметом презрения чиновника и предметом ненависти — когда пытается их предъявить.

АВАНГАРД

Мы окружены авангардом — поэты, художники, кинематографисты... выставки, теоретические декларации. Неудобство в том, что авангард, как и модернизм, перевалил уже за сто лет своего существования. Поэтому придумали термин постмодернизм (по образцу постсимволизма, постимпрессионизма). Отличается он от модернизма, кажется, отказом от обязательной новизны, небывалости. Уступка чересчур очевидной повторяемости мотивов.

Авангардизм зарождался периодически. В России — в начале века, потом авангардизм обериутов, преемственно связанный с первым этапом через Хлебникова. Сейчас новая волна. Авангард всякий раз вступал в борьбу с традицией. Всякий раз заново освобождался от признаков существующей поэтики. В стихах, например, от размера, от рифмы, от устойчивой лексики, в конечном счете от общепринятого смысла. Это сопровождалось эмансипацией формы, как носительницы чистого значения, идеей самодостаточности цвета или звука.

Периодичность закрепила в авангардизме некие стереотипы отрицания. Поэтому мое поколение, которое уже столько раз это видело, воспринимает его как архаику.

Авангард начала века был производным индивидуализма. Вижу мир таким, каким мне заблагорассудилось его увидеть.

Высвободить форму начали еще романтики. Но романтический индивидуализм состоял в том, что безусловно ценная личность присваивала себе безусловные ценности, ей внеположные, вплоть до божественных. Романтическое отношение субъекта и объекта нарушило уже декадентство конца XIX века. Объективные ценности взяты были под сомнение, но ценность личности еще не оспаривалась. XX век с его непомерными социальными давлениями постепенно отнял у человека переживание абсолютной самоценности.

Индивидуализм без внеличных ценностей и без самоценной личности не мог не кончиться абсурдизмом. Суще-

вание не имеет смысла, и в лучшем случае человеку оставлено удовольствие от самого процесса бессмысленного существования (это описано в «Постороннем» Камю).

Сегодняшний наш авангард пользуется абсурдом для ухода от надоевших форм жизни. Состояние сознания одной разновидности изображает в своей прозе их теоретик Владимир Шинкарев. Сознание высоколобых, широко эрудированных работников котельных.

В журнале «Родник» напечатан «основополагающий документ» — «Митьки» Шинкарева. Митьки — группа художников; они же «художники поведения в мире, где всё только разводы на покрывале Майи...»

На покрывале Майи прочитывались разные разводы, иногда очень изысканные. Но художники поведения митьки запечатлели на этом покрывале умышленно убогий быт, с эстетикой пьянки и сквернословия, игру в идиотизм, речь простую, как мычание или как словарь Элочки-людоедки. Шинкарев приводит образцы словоупотребления митьков. Например: «ДЫК — слово, могущее заменить практически все слова и выражения».

Но поведение митьков задумано как шифр, скрывающий и приоткрывающий то, что за покрывалом Майи.

А что за покрывалом Майи? — Высокая жизнь духа? Во всяком случае, искусство. Искусство возможно только как перевод на символический язык экзистенциальных ценностей. На худой конец оно — как единственную достоверную ценность — само себя переводит. Тогда образуется ценностная недостаточность.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

У меня были две непосредственные встречи с органами. Первая в 1933 году. Тогда в первый раз прокручивали дело Жирмунского в качестве немецкого шпиона (в Германии как раз произошел гитлеровский переворот). Это было предвосхищение будущего, столь еще психологически неподготовленное, что, когда следователь сказал: «А вам известно, что Жирмунский шпион?» — я засмеялась. Арестовали Виктора Максимовича и разных людей (меня в том числе), знакомых с ним и даже почти не знакомых. Тогда, в вегетарианские, — как говорила Анна Андреевна, — времена бывали глупые дела, которые кончались ничем. Потом таких уже не бывало. Мирное слово *глупость* не применимо к кровавому абсурду обвинений, предъявляющихся в 37-м году.

В 1933 обвинение мне, в сущности, не предъявили; преимущественно предлагали (попутно угрожая лагерём) «помочь нам в нашей трудной работе» (в тех или иных обстоятельствах «помочь» предлагали подавляющему большинству моих сопластников). Не получилось.

Убедились в этом и выпустили через две недели. Но две недели продержали в Доме предварительного заключения (на Воинова, рядом с Большим домом) в отделении строгого режима — без книг, передач и прогулок и в одиночке. То есть в секторе, состоящем из одиночек, но, ввиду перенаселенности ДПЗ, превращенных в камеры на двоих. Меня сунули туда глубокой ночью, и я растерянно стояла у двери, пока они ходили за второй койкой. Я думала о том, что вот придется жить впритык с незнакомым существом, может быть, истеричкой, да мало ли что может быть. Моя сокамерница внимательно рассматривала меня со своей койки, а рассмотрев, сказала:

— Ну, разрешите мне *faire les honneurs de la maison*¹

Помню это чувство огромного облегчения: ну, значит, договоримся. Ее звали Анна Дмитриевна Стена (есть такие украинские фамилии). Эрмитажница. Кажется, религиоз-

¹ С почетом принять в этом доме (фр.)

ное дело. О деле она не говорила; мне сказали об этом позднее, и о том, что ее выслали на несколько лет. Мы прожили две недели дружно, разговаривали, читали стихи (книги ведь не давали). Анна Дмитриевна знала наизусть неправдоподобное количество стихов. В том числе две главы «Онегина», «Медного всадника» и почему-то том сонетов Эредиа. Их она читала, естественно, по-французски, что приводило в беспокойство стража, который стучал в глазок.

Вторая встреча с ними была гораздо страшнее, хотя я была не в тюрьме, а на свободе. Это конец 1952 года, тогда уже арестованы были врачи, но мы еще не знали об этом.

Параллельно решено было сочинить дело о еврейском вредительстве в литературоведении и т.п. Организовывал дело Э., который был не рядовым стукачом, но крупным оперативным агентом. По повсуду неудавшейся попытки исключить Э. из СП (после хрущевских разоблачений 1956 года) Твардовский сказал: «Как легко было исключить из Союза писателей Пастернака и как трудно Э.»

Э. же на своей проработке сказал, что никогда не клеветал, а только доносил, поступая так, как того тогда требовала партия. И закончил свою речь словами:

— Боюсь, что мне трудно будет восстановить свое доброе имя...

Э. был культурен и имел способности (его ранние работы о Герцене интересны). Внешность у него была инферальная. Бухштаб говорил:

— Никогда не видал человека, у которого до такой степени все было написано на лице.

Я общалась тогда с Э., участвуя в герценовских изданиях, тридцатитомном и семитомном (единственный источник заработка после того как меня выжили из университета в Петрозаводске). Э. почему-то считал меня овцой и учил как надо отстаивать свои интересы в издательствах и редакциях. Получив задание сделать дело о вредительстве в литературоведении, он навел органы на меня (что явствовало из направления допроса). То есть с моих показаний должен был начаться процесс Эйхенбаума и его приспешников.

Тогда как раз в Гизе безнадежно валялась моя книга о Герцене. Программируя мою дальнейшую судьбу, Э. написал отрицательную рецензию (вторая, нужная издательству разгромная рецензия была заказана Марку Полякову) и одновременно мне личное письмо, в котором

объяснял, что отрицательная рецензия необходима для моего благополучия. Рецензии Э. и Полякова захлопнули книгу о «Былом и думах» еще на пять лет. На личное письмо Э. я не ответила.

Вскоре приятный женский голос сообщил мне по телефону, что из Москвы мне привезли рукописи и что за ними нужно зайти в такой-то номер гостиницы «Октябрьской» (близ Московского вокзала). Макашин тогда часто пересылал мне герценовские материалы (тридцатитомное издание или «Литературное наследство») и любил почему-то пользоваться оказией. Так что выглядело все правдоподобно. Но какое-то подозрение во мне бродило — время подозрений.

В потрепанном номере гостиницы «Октябрьской» меня ждала, разумеется, не моя телефонная собеседница, но трое предъявивших удостоверение мужчин разного типажа. Главный был с университетским значком в петлице, который должен был, очевидно, произвести на меня впечатление. Был еще молодой, маленький, дегенеративного вида. Он все время молчал, и я подумала, что такие должно быть пытаются с удовольствием. Третий был в стиле военного коммунизма — в каком-то френче, какие тогда давно уже никто не носил. Из всех он был самый человекообразный.

Мы встречались три дня подряд. В первый день разговор продолжался десять часов, во второй — пять; в третий (они уже отвалились — не сработало) сорок минут и в основном свелся к подписке о неразглашении.

Пятнадцатичасовой разговор свинцово топтался на месте. Мне предлагали удостоверить, что Эйхенбаум враг народа; я отвечала, что этого быть не может. Они были вежливы (разговор в гостинице, без ордера на обыск и арест). Подавали пальто. В перерыве принесли из буфета бутерброды. Человек эпохи военного коммунизма мохнатым пальцем тыкал в бутерброд с красной икрой: «Возьмите вот этот»; остальные были с колбасой.

По ходу допроса главный (со значком) предложил мне в письменной форме изложить все, что я знаю о вредной деятельности ведущих сотрудников ГИИИ. Я писала долго какую-то вдохновенную ахинею. Вроде того, что, действительно, имели место методологические просчеты, например, теория всецело имманентного развития литературного процесса. Главный просмотрел мои листочки и молча порвал их на мелкие куски. Так что ахинея в архив так и не попала.

В первый день я пришла домой поздно. В моей коммунальной квартире жила тогда С. Д. Она говорила очень много и очень забавно, но, как ни странно, умела молчать — когда надо. Я зашла к ней и объяснила положение вещей. Если завтра я не вернусь, пусть будет понятно почему...

Потом я стояла у остывающей печки и думала сосредоточенно о том, что главная сила, единственная защита человека — это способность к самоубийству, что это последняя мера достоинства. Об этом Достоевский сказал Кирилловым. Но беспричинный акт Кириллова — это самоубийство как свобода. Тогда как наше самоубийство — это необходимость и для раба единственная возможность волеизъявления.

Я стояла у печки. Около часа ночи раздался звонок. Сомнений уже не могло быть никаких. В коридор вышли одновременно я и С. Д. Не знаю, какого я была цвета, но она была белого — я даже не предполагала, что так бывает на самом деле. Почтальон вручил мне телеграмму. Из далекой командировки телеграмма извещала меня о благополучном прибытии туда адресанта. Никогда их так поздно ночью не приносили.

Вообще же я была обречена. Дело о вредительстве в изучении русской литературы (в истоках — Институт истории искусств, в центре — Эйхенбаум) начали бы с какого-нибудь другого конца и дошли бы до меня в свое время. Да еще свели бы счеты за задержку. Смерть Сталина (через два с небольшим месяца) спасла и мою в несметном числе других жизней.

1988

* * *

Библер прислал мне свое эссе «Нравственность. Культура. Современность. Философское размышление о жизненных проблемах».

Я написала ему: «Вы говорите: основной этический акт — выбор, свободный поступок. Но почему исторически выбор всегда предстал неразрешимым парадоксом. Для античности в силу идеи рока; для средневековья — божественного предопределения. Для позитивизма XIX века в силу биологического и социального детерминизма.

Для нас такие механизмы уже не срабатывают. И получается, что самый непредустановленный выбор у наших современников. Но это уже сверхпарадокс. Потому что никто еще не проходил через подобный опыт невозможности выбора».

ХОББИ

В Англии собираются издать Интернациональный биографический словарь. Мне прислали анкету для заполнения. Там есть даже графа «хобби».

Для образца заполняющим — в анкету включены ответы архиепископа Кентерберийского. Всевозможные должности и почетные звания занимают у него целый столбец. А в графе «хобби» написано: «Опера, чтение истории и романов и разведение свиней беркширской породы». Прелестное микроизъявление английского духа.

* * *

Давнишний разговор между двумя людьми, до пресыщения знающими друг друга.

— Так, так... Не обзавелся ли ты иллюзиями?

— Иллюзиями? Я уже даже не помню, как выглядят иллюзии. Из чего их делают. У меня, напротив того, подробное расписание будущих горестей.

— И ты встречаешь в психологическую авантюру с вычисленным страданием... Чего ради? Ради тени счастья.

— Но тень счастья — это страшно много. Огромно. «А эта тень, бегущая от дыма...» Подумай — давно омертвевшему сознанию возвращена печаль.

— Как-то у тебя все это подозрительно красиво. Когда человеку по-настоящему больно, он готов взвыть.

— Выть я не буду. Потому что все заранее хорошо известно. Воют от неожиданности, принимая ее за несправедливость. А тут все закономерности — на своих местах. Остается проиграть ситуацию.

— Проиграть... Слово имеет два значения...

— Годятся оба. Для каламбурной развязки. Смотри — «Как тень внизу скользит неуловима...»

* * *

В «Вопросах литературы» напечатан московский дневник Ромена Роллана, который он вел в 1935 году. Против ожидания дневник оказался документом в высшей степени интересным.

Интересно не то, что ему вкручивали — это само собой — а он клевал на наживку (к тому же подкупленный неслыханно почетным приемом), а то, что он многое знал, живя у Горького и тесно общаясь с Крючковым и Ягодой.

Роллан отчасти понимал, что ему вкручивают, он знал про поднадзорное положение Горького, про расстрелы, аресты и ссылки после убийства Кирова, про неприличное обожествление Сталина, про указ, узаконивший смертную казнь для детей с двенадцатилетнего возраста.

Он пишет, что сопротивление «богатых крестьян» было «яростным и фанатичным». И по ходу этого рассказа возникает замечательная своей уравниловностью фраза: «На Украине крестьяне уничтожили огромные запасы зерна, весь урожай, и их оставили умирать с голоду». То есть Ромен Роллан знал то, о чем мы тогда не имели понятия, — что украинский голод был *организован*.

И все это не помешало знаменитому гуманисту толковать о «лучезарном будущем» советского народа и в личной беседе заверить Сталина, что под его руководством СССР указывает лучшим людям Запада выход из морального и экономического распада.

Ромен Роллан в самом деле гуманист, а убеждение в том, что «лучезарное будущее» требует жертв и оправдывает жертвы, было родовым грехом всего гуманизма, выношенного XIX веком. И все мы, интеллигенты старшего поколения, причастны этому греху.

Интеллигентам, впрочем, свойственно сомневаться. По поводу очевидной для иностранцев перлюстрации писем, которую отрицал Ягода, Роллан заметил: «Но даже зная все это, испытываешь чувство вины за свои сомнения, глядя в честные и кроткие глаза Ягоды».

* * *

Двадцатым годам присуще интеллигентское поклонение жестокости. «Конармия» Бабеля вся проникнута уничижением интеллигента перед недоступной ему кровожадностью.

Платонов же, сам пройдя через соблазны утопического мышления, сумел понять, почему «лучезарное будущее» . . . И написал об этом «Чевенгур».

* * *

В альманахе «Зеркала» М. Эпштейн поместил эссе «Очередь». Оказывается, очередь можно дофилософствовать до положительного смысла. «Очередь — это воплощенная мечта социального математика, утописта-пифагорейца об оживотворенном натуральном ряде чисел, где каждый отличается от другого только порядковым номером . . . Если толпа — это хаос, то очередь — космос, устроенный по законам исчислимой гармонии. Но в отличие от античного космоса новейший вброшен в историю, и число обретает свойство самодвижения».

Никакого отношения к экзистенциальному опыту стоящего в очереди — с ее телесным томлением, с хамством и ненавистью, с унижением человека.

Эпштейн хотел непременно сказать то, что никто не говорит. Дело же писателя не говорить то, что никто не говорит, а говорить то, что все говорят, но так, как об этом никто еще не сказал.

1989



Разговор с Андреем Левкиным о возможностях прозы. Сначала говорим о том, о чем давно говорят разные люди. Современное сознание уже не воспринимает иллюзию объективного мира традиционной художественной прозы. Эту иллюзию до предельной осязаемости, до исчерпанности довел еще Толстой.

Нам постыла тяжелая трехмерность, видимость второй действительности, средостением встающая между писателем и читателем.

— Не только между писателем и читателем, но между писателем и писанием, — говорит Левкин.

Он говорит, что сейчас люди начинают делать то, что в двадцатых годах сделал Шкловский прекрасной книгой «Письма не о любви». Другое прекраснейшее явление новой прозы — тоже старое: «Разговор о Данте». Непосредственный разговор автора с читателем, хотя и не личностный... Не о себе...

Я: В конечном счете о себе... О своей поэзии больше, чем о поэзии Данте. Но не в том дело. Не в том, чтобы художественное высказывание было субъективным, а в том, чтобы оно было прямым; без средостения будто бы объективного мира или со средостением вполне прозрачным.

Прямой разговор о жизни — в разных его формах, есть и косвенные формы прямого разговора — единственное, что пока современно. Почему этот род литературы не устарел, как другие? Потому что жизнь продолжается, не устаревая, и тем самым продолжается ее осознание, истолкование. Научное и эстетическое высказывание — неотъемлемая функция мыслящего человека. А романы и повести он может и не писать.

По этому поводу Алеша Машевский сказал, что прямой разговор о жизни — такая же условность, как непрямой. Что как только люди привыкнут к тому, что это литература, появится литературный стереотип прямого разговора. Уже появился.

— Что же, по-вашему, — прекратится тогда потребность в эстетическом осознании текущей и протекшей жизни? Едва ли. По Гегелю, правда, искусство отомрет, как способ

познания, несовершенный по сравнению с наукой, философией, особенно религией. Но потребность эстетического переживания жизни изначальна, задана в устройстве человека. Значит, взамен прямого разговора придумают еще какую-то новую форму. Или изменят назначение старой. Прямой разговор о жизни существовал еще в древности. В XII веке проза — это и есть, в основном, прямой разговор — хроники, мемуары, мысли, максимы, афоризмы, портреты... Но о том, что это литература, тогда еще не знали.

1989

* * *

Литература мыслила человека свойствами — устойчивыми, стереотипизировавшимися реакциями на сходные ситуации. От одномерного, сведенного к одному свойству типа классической комедии, до динамической и противоречивой соотношенности свойств, образующей характер в романе XIX века. Со временем все меньшее значение отводилось стереотипу, все большее — изменчивой ситуации.

Проза XX века (новый роман, Беккет...) попыталась отделаться не только от характера, но и от персонажа. Попытка тщетная, потому что неотменяемым оказался субъект сюжетного процесса, — даже если он предстал аморфной магмой сознания.

В XX веке размывание характера быть может сопряжено с непомерным тоталитарным давлением, перетиравшим личные свойства человека. Сталинской поре присуща унификация поведения перед всем грозящей пыткой и казнью. Лгали лживые и правдивые, боялись трусливые и храбрые, красноречивые и косноязычные равно безмолвствовали.

* * *

У Шекспира ревность — составная часть характера Отелло и его сюжетной судьбы. У Пруста ревность не только свойство характера рассказчика, но также идея ревности, объемлющая прустовское понимание жизни как непрерывного ускользания из человеческих рук.

Жизнь существует лишь в памяти. И не только прошедшая жизнь, но и так называемое настоящее — тоже произ-

водное памяти, недоступное для обладания. Отсюда бесплодная ревность к другому, в самом деле обладающему. Его даже нельзя настичь, потому что человек прустовского склада находится с ним в разных измерениях — в измерении памяти и в измерении побежденного настоящего.

4.11.89

* * *

Есть одиночество буквальное, физическое; одиночество заключенных в одиночку или заброшенных стариков, получающих сорокарублевую пенсию.

Есть одиночество душевное при наличии разных контактов — профессиональных, интеллектуальных, светских, семейных, любовных. Вплоть до ахматовского «одиночества вдвоем». Тогда одиночество — это неразделенная жизнь. И одолеть его можно не контактами, но только взаимопроницаемостью существований. Это выход из себя, мучительно нужный человеку. В схватке с солипсизмом человек ищет подтверждения внеположной реальности — будь то Бог или материальный мир.

Человек не выносит чистого чувства жизни (если он не достиг нирваны — блаженной самодостаточности), жизни без отвлечений — в паскалевском смысле слова. Паскаль говорит, что все бедствия человека происходят от того, что он не умеет спокойно сидеть в своей комнате. Человек — по Паскалю — придумал множество отвлечений (*divertissements*), для того, чтобы они мешали ему думать о себе и своем плачевном и обреченном земном бытии.

Те, кто видят смысл жизни — в жизни, в ней самой, на самом деле приемлют жизнь в разных ее наполнениях, содержательных формах — природы, искусства, эротики... Существование как таковое чревато инферальной скукой.

Этому состоянию души соприродно одиночество, если представить себе идеальное одиночество, доведенное до предела, которого оно практически не достигает. Никем не разделенная жизнь не тождественна, но странно подобна бесцельности, самосознанию, не имеющему содержания, дико остановившемуся времени, от которого кружится голова. И страшно. Но такая правда об одиночестве находит только минутами. В остальном мы *отвлекаемся*.

6.10.89

СОБРАНИЕ

— Очень мне понравилась речь В. Чем она отличалась от речи К.? Что же это — речи порядочных людей ничем уже не отличаются от речей подсыков?

— Но отличается позиция, несмотря на речи.

— Ну, это возможно только отчасти. Конечно, слова и дела... Но слова — это тоже дела.

Оно и верно и неверно. Верно, что речь — тоже поведение. Поведение, значит, плохое. А предпосылки и последствия поведения все же отчасти положительные. Трудно разобраться, если не разделить на уровни этическое существо человека. Разделение, преодолевающее этический наивный реализм; столь свойственный моему поколению в ранней юности, когда мы думали, что все рабовладельцы — плохие люди, а рабы — хорошие.

Есть историческая функция человека, его положение в расстановке сил, которую люди определенной ценностной ориентации считают положительной или отрицательной (концепция вполне релятивистическая, конечно). Есть, далее, конкретное общественное поведение человека, соотношенное с его функцией, но ей не тождественное, отклоняющееся под давлением обстоятельств. Есть, наконец, личные свойства.

Оценочные знаки трех этих пластов могут совпадать, могут не совпадать и вступать в разные сочетания. Плюсы и минусы, проставляемые с относительной, но вовсе не субъективной, а в своем роде обязательной (групповое сознание) точки зрения.

Х уверял, что в определенных исторических ситуациях только негодяи могут сделать хорошее (если хотят). Потому что они обладают властью. Он подразумевал определенные социальные результаты.

Очень уж просто. Оставим в покое разные душевные градации. Но схематическую градацию дает хотя бы моя старая теория деления людей на порядочных (которые в основном не сохранились), полупорядочных, мерзавцев, которые хотели делать то, что они делали, полумерзавцев, которые не хотели делать то, что они делали, и потому делали немного меньше.

Те, кто помоложе, смотрят из дали, стирающей оттенки; мы же познали оттенки на собственной шкуре. Нам было небезразлично, что Д., скажем, (для них — суммарно мерзавец, для нас — полу . . .) делал минимум положенного и сам убивать не хотел. Такой оттенок мог спасти кому-нибудь жизнь. А. — хотел. Его оттенок в том, что он верил и, когда перестал верить, — ему расхотелось. Из дали видна только чистая историческая функция и не видно соотношений функции, поведения, личных свойств.

В свое время этика была либо религиозной, либо рационалистической. Религиозная этика предлагала сверхлические и сверхчувственные обоснования своей обязательности. Рационалистическая убеждала человека в том, что хорошим быть естественно, выгодно, приятно. Никакой обязательности из всего этого не получалось; поэтому религиозная этика очень логично могла объявить: если Бога нет — все дозволено. Если же на практике атеисты ведут себя хорошо, это значит, что они бессознательно религиозны.

Современная социология показала, что человек — это социальное устройство, управляемое не личным произволом, еще менее логикой, но разными механизмами, внушающими ему групповые ценности и нормы (так уже у Маркса, с его учением о превращении интересов в идеалы). В своем поведении человек легко уклоняется от социальных норм (как и от религиозных), но ему не уйти от групповых критериев, потому что они уже стали оценочной формой его сознания. Эта обязательность — по сравнению с религиозной, — в сущности, абсурдная, алогическая, но достаточно крепкая для того, чтобы на ней кое-как все держалось.

Поведение — выбор между предложенными возможностями, и выбор ограниченный. Выбор прежде всего предлагает история, у которой в определенный момент для определенной среды есть свои варианты. Чем активнее в данный момент социальная среда, чем напряженнее, тем выбор уже. В 1810—20-х годах все молодые образованные русские дворяне в большей или меньшей мере были декабристами. История не вообще предлагает свои возможности, но предлагает их группе, среде. А среда предстает человеку сначала в конкретной форме семьи. Значение семьи чрезвычайное — первая социализация человека. И все же из данных семьи поведение еще невыводимо, непредсказуемо. После истории, среды, семьи следуют определяющие вари-

ант подробности — личных свойств, обстоятельств, удач и неудач...

В тех условиях, которые были даны на протяжении десятилетий, самой решающей, вероятно, подробностью были способности. Способности, те же личные свойства, направленные на определенную деятельность. Способные, то есть заинтересованные, потенциально продуктивные, обладающие ресурсами, — естественно шли в одну сторону, бездарные — в другую. Борьба умеющих и неумеющих — большая общественная борьба; и неумеющие вооружены в ней как нельзя лучше.

Что касается умеющих, то в среднем их этический потенциал выше. Но не будем преувеличивать. Талант в этом плане как-то сам собой срабатывает. Он ставит свои условия. Сосредоточивает на одном и приглушает многие вожеления. Главное, человек непроизвольно выполняет условия, поставленные его талантом. Изнутри ему даже кажется — это он от слабости, от вялости ведет себя хорошо, оттого что стесняется, храбрости не хватает вдруг перевернуться и заговорить другими словами. В этом мы знаем толк. Жизнь вся прошла в выполнении условий; и никогда это не сопровождалось горделивым переживанием осуществляемого этического акта.

Обратимся к нынешней расстановке сил. Есть уклоняющиеся — от воображаемой точки — вправо, есть уклоняющиеся влево, есть наплевательски настроенные, своекорыстно ориентированные и т.д. Нет только находящихся в точке, потому что точка эта уже недействительна (в гегелевском смысле). Кстати, водораздел, довольно зыбкий, проходит не между имеющими партбилет и не имеющими (это не так уж релевантно), но между силами охранительными, то есть охраняющими свое положение, и силами продуктивными или потенциально продуктивными (усиление первых приводит к отмиранию вторых). И это в любой сфере.

Правые, в свою очередь, есть чиновничьего типа и националистического. И множество между ними гибридов и переплечений. Есть почвенничество органическое, с семейными навыками и связями, даже с предрасполагающей внешностью, в виде, например, хорошо растущей бороды. Туда же ведет и многое другое — неистребимость жестких расовых инстинктов, потребность выхода из идеологического вакуума, мода, то есть неудержимое примыкание, подключение к существующей ценностной ориентации. Но, может быть, всего больше соблазн неизъяснимой легкости,

простоты, с которой добывается столь нужное человеку чувство превосходства, избранности, а заодно врожденное право на житейские преимущества. Не трудом, не умом и волей, а брожением соков в физиологически темных, хлюпающих недрах. Какой ужасный соблазн!

Тип этот, нередко смыкаясь с чиновничьим, не исключает однако продуктивности (чем бездарнее человек этого типа, тем он страшнее и ближе к охотнорядской модели). В конечном счете поэтому они подозрительны чиновникам, полагающим, что лучше не иметь и таких идей, на первый взгляд симпатичных. Когда же оказывается, что это только на первый взгляд — их готовы стукнуть, не очень сильно, но довольно охотно.

Есть еще кочетовская ориентация (те самые правые, которые на Западе — левые, с прибавлением отсутствующей у кочетовцев анархической окраски). Представителей ее мало и становится все меньше, то есть идеологов. Их вытесняют практики, чистые функционеры. Те, кто знают, чего им ожидать от продуктивных сил. Типологические их предпосылки — бездарность, невежество, неспособность к производительному труду. Для автоматического включения в ряд не на своем месте сидящих хватает и этого, но еще прибавляется — для более перспективных — властолюбие, жадность до всяческих благ (подобные страсти заводят в этот стан порой и талантливых).

Функционеры породили в нашем литературном быту любопытнейшее явление. Когда речь шла о напечатании Белого, Цветаевой, Мандельштама, — они всякий раз оказывали сопротивление столь мощное, сложное, многоступенчатое, столь проникнутое ужасом, как если бы с выходом именно этой книги должны были рухнуть устои, как если бы именно эта книга должна была открыть людям нечто, что сделает их неуправляемыми. Но книга после многолетних противоположно направленных усилий выходила, а устои оставались на месте. И все начиналось сначала в ожидании подобной книги. Наконец для меня прояснилось: дело не в устоях, дело в штатных единицах. Чем спокойнее будут выходить эти книги, тем меньше будут нужны редакторы, цензоры, члены редколлегий, заведующие отделами и многие другие.

Функционер жиреет, но жиреет как-то только физически. И он вовсе лишен розовой гладкости, которой иногда удивляют люди западного делового мира. Он расплачивается беспокойным бытием, всегдашним нервным ожиданием. Преданность его негативна; она ипостась его страхов.

И она не мешает раздражению против устройства, если устройству случится наступить на его интересы.

Есть еще правые поневоле. Бывшие люди бюрократического мира. По причине смены формаций, по национальным или другим причинам управлять они больше не могут. Иные из них — в том числе репрессированные и реабилитированные — пребывают в уже несуществующем. Другие даже не прочь бы начать сначала, в духе новых ожиданий среды. Но совсем к этому не приспособлены. Им никак не повернуть окаменевшие смолоду мозги.

Левые имеют свои разновидности — от собственного мнения, более или менее откровенного, до умения отмолчаться; также до юношей, заявляющих своеволие длинными волосами и разрисованными кофтами. Есть среди них и желающие исправить. Желание, в свое время характерное для основной новомирской группы. Понятно: некоторые ее вдохновители сами вышли из гущи проработчиков (Дементьев — особенно), и сами исправились.

Есть люди поведения конформистского и карьерного (разной степени), но приобщенные к интеллигентским ценностям, что обеспечивает им чувство превосходства над неприобщенными. Есть, наконец, по существу своему чиновники, в чьем мышлении появилась категория общественного мнения (как категория силы). Предусмотрительнее — они считают — быть на всякий случай умеренными, благожелательными к интеллигенции.

К интеллигенции... Можно ли подвести под такое понятие весь этот пестрый социальный материал? Можно, если в значительной мере изменить содержание понятия. Интеллигенция в классическом понимании — это сознательные носители целенаправленной общественной мысли. Если таков основной интеллектуальный признак русской интеллигенции, то основной ее этический признак — готовность претерпеть. Она возникла не из личных нравственных качеств (это само собой), но была непременным условием, важнейшей составной частью этой социальной модели. (Как, например, храбрость кадрового офицера является профессиональным условием, а вовсе не свойством хорошего офицера.) От готовности народовольцев взойти на эшафот до готовности либерального профессора в знак протеста уйти в отставку, до готовности студента быть выгнанным из университета. Они обычно не извинялись, не просили, а главное, не удивлялись, считая, что это то самое, чего и следовало ожидать. Декабристы, те, напротив того, удивились. Они, их друзья и родные долго

даже не хотели верить тому, что с ними в самом деле поступят жестко. Декабристы еще не были интеллигенцией, а были интеллектуальным слоем господствующего класса. Мерещилось им, что раз дело не вышло, то можно еще все обратить, стереть, что с ними могут еще столкнуться, проявить понимание . . . Между ними и властью не разверзлась бездна, и гражданского мужества у этих бесстрашных офицеров оказалось поэтому меньше, чем у любой курсистки восьмидесятых годов.

В совсем других общественных обстоятельствах мы видим сейчас опять жалующихся и удивленных. Желających не соглашаться и за редкими исключениями совсем не желающих страдать. Существование в двух планах; и в план официальный (профессорский, литераторский и т.п.) со всеми его законами они вкладывают талант, энергию, добросовестность и ждут взамен процветания. В каждом плане свои удовольствия. Подписывание писем протеста — возбуждающая роль взрослых людей, имеющих свое мнение. За это ничего особенного и не будет . . . Особенного и не было. Но опыт показывает, что для устрашения не обязательны крайние меры (при частом употреблении они иногда даже притупляют реакцию), что страх перед гибелью и страх перед потерей работы, ненапечатаньем книги и даже отказом в заграничной командировке могут дать одинаковые результаты — отступничество, покаяние.

Интеллигенция без интеллигентского принципа поведения? И все же в этом переплетении неустойчивых социальных форм есть нечто, противопологающее его силам механическим. Потенция возможностей, способностей, а следовательно, интереса к делу, а не к его отчужденным оболочкам.

Пусть в этот стан влечет мода или расчет — более сложный, чем у чиновника. Пусть! Нет такой формы поведения (кроме экстатического, быть может), которая, наряду с другими, жертвенными, мотивами, не определялась бы — расчетом, тщеславием, властолюбием, эгоизмом, модой.

Мода, в частности, — это очень серьезно; это исторический инстинкт, потребность подключиться к предлагаемой исторической ориентации. Не предавать проклятию должно все эти могущественные механизмы, но стремиться к тому, чтобы они вырабатывали положительную социальную энергию.

Управляющие механизмы расположены решительно на всех уровнях, даже самых низших. Как в системе зеркал,

они повторяют повадки вышестоящих. Кроме того, есть просто работающие, проживающие. Из этой материи получается и то и се. Кого куда повернет. И положительные, и отрицательные реакции этого пласта удивительно непосредственны. В каждом частном случае они определяются соответствием или несоответствием интересам. В целом же предпочтение отдается стабильности. Изменения? — как бы они не пошли на пользу лучше живущим (привилегированным) . . .

Если так нужна свобода, то не свобода мнений; скорее свобода реализации законного стремления к жизненным благам.

В схематически жестких границах истории и среды колеблющиеся мотивы выбора, выбора поведения — социальные и биологические, сознательные и бессознательные, закономерные и случайные. Некий сдвиг — и функция человека могла стать противоположной. В 1920-х годах одна и та же среда давала порой — героических комсомольцев, богоискателей, аполитичных эстетов. Человек не может выдумать для себя несуществующую форму поведения, но он может выбрать свой исторический характер из моделей, заготовленных историей.

Сходные механизмы действуют в самых разных жизненных сферах. В том числе в заштатной области литературных дел. Но и в ее пределах какие-то ситуации могут служить микрокосмом социальных закономерностей.

Вот, например, собрание некоей секции (середина семидесятых годов), с выступающими разного возможного типа.

Когда люди действуют механически — без двигателей эмоций и интересов — пружины обнажаются до предела. Собрание сплошь посвящено подменным темам, то есть предназначенным замещать те подлинные, которые могли бы возникнуть из данных обстоятельств. Подменные темы выполняют разные функции. Они создают видимость деятельности, что собравшимся практически нужно, и видимость высказываний, разумных, даже либеральных и благородных, — что всегда приятно высказывающимся.

Темы: творческие дискуссии (необходимо их активизировать); единение писателей и ученых (в свете современного движения научной мысли); сетования о том, что еще недостаточно сделано для издания некоторых замечатель-

ных книг, и о том, что критики, вместо того чтобы писать о современных писателях, — ищут службу с зарплатой.

Среди всех призрачных тем подробнее всего обсуждается самая призрачная — отсутствие творческой смены; осязаемым образом оно выразилось в том, что за два отчетных года секция не пополнилась ни одним молодым критиком. Все с либеральным единодушием обвиняют косный аппарат, который затрудняет прием. По ходу собрания выясняется, что аппарат не может принимать молодых, потому что секции выдвигают только немолодых.

Речь, однако, идет не о действительных препятствиях (самое действительное из них — состояние литературы. Есть хорошие писатели, но они не образуют литературу), но об идеальных, таких, какими они должны бы быть. Поэтому виноват аппарат, виноваты журналы-газеты, которые критику мало печатают, вузы, которые плохо готовят критиков.

Один из участников обсуждения от имени писателей обвинил вузы в том, что они не воспитывают. Другой от имени вузов обвиняет журналы в том, что они не предоставляют площадку, а без площадки невозможно воспитывать. Молодые критики не хотят воспитываться, если знают, что их не будут печатать.

Когда смена есть — она приходит сама, и иногда даже совсем навоспитанная. Смена приходит, хотят ее и не хотят. Чаще всего ее не хотят, потому что люди, натурально, не любят уступать свое место. Чем менее возможна смена, тем охотнее ее призывают. В данном случае сменять не только некому, но и некого. Потому что призывающие к тому, чтобы их сменяли (таков порядок), сами давно уже критикой не занимаются и не намерены заниматься — неинтересно, небезопасно, нерентабельно.

На этом негативном базисе надстраиваются сожаления о том, что творческие дискуссии, хотя и проходят на хорошем уровне, но не заняли еще подобающее им место в жизни творческих организаций. Словоупотребление это того же типа, что, например, — Дом творчества. Эти сочетания до такой степени утратили свой первичный смысл, что, произнося фразу: «Я еду в Дом творчества», даже самые разумные из нас почти не краснеют.

Среди напыщенной и сонной бутафорской скуки оживляющим было выступление секретаря секции. Он говорил не именем творческих сил, а в качестве делового функционера. Он доложил секции ее возрастные цифры. До 35-ти — ни одного. От 35 до 40 — два, кажется. От 40 до 50, от 50 до

60 — количество членов в сильно возрастающей прогрессии. Все очень веселились.

За подмененными темами — подлинные конфликты действующих сил, воплощенные людьми с их исторической типологией. И в малых масштабах этого собрания различимы — власть имевшие, власть имущие и только еще хотящие иметь. Сконструируем пятерых выступающих в обнаженности этих механизмов. Один из них принадлежит к поколению 20-х годов, двое — к формации 30-40-х. У двоих годы учения приходятся на послевоенную эпоху, годы деятельности на ее сменившую. Сопластники (выражение Герцена) дифференцированы, в свою очередь, разными обстоятельствами.

Самый архаический пласт представлен первым выступающим, — до инфарктов помятым всеми отпущенными на его долю прижизненными перевоплощениями. От прочих выступающих он отличается тем, что когда-то верил в то, что когда-то говорил. Эта разновидность в высшей степени выигрывала на том, во что она верила. То есть это не дурак, герой, интеллигент (разновидность, до тонкости нами изученная), а, напротив того, продукт местечковой бедноты, перед которой распахнулась вдруг ослепительная возможность образования, деятельности, власти, — о хорошей жизни тогда еще как-то не принято было думать.

Одна из его сопластниц рассказывала — уже в шестидесятых годах — как в двадцатых годах она управляла каким-то селом. Для разездов ей полагалась лошадь. Она пожаловалась в местный центр, что лошадь стала плоха; надо ее подлечить или заменить. «Что же, — спросили ее в центре, — лошадь-то у вас старая?» «Нет, зачем, — сказала она, — молодая. Лет восемнадцать».

Зато они верили. Четырнадцать лет первый выступающий поступил в своем городе на работу, одновременно учился в вечерней школе. С 1925 журналист, потом прошел через университет — все это на периферии. С начала 30-х годов разворачивается в Ленинграде. Этот исторический тип был тогда еще чрезвычайно активен. Он имел свои подвиды, в том числе буржуазный (некоторых в детстве обучали немецкому языку и игре на рояле). Были среди них лихие рапповцы, были при рапповцах ученые гегельянцы. Первый выступающий принадлежал к подвиду скорее прагматическому. Был хороший администратор (нисколько не злостный). При некультурности, в своем роде был умен. Имел дар речи. Прорабатывал поэтому красноречиво. В качестве проработчиков все они, впрочем, — сущие дети,

по сравнению с пребывавшими тогда еще в зерне. Они не хотели убивать, ни лишать свободы или хлеба (хотя все это могло, разумеется, проистечь само собою). Они хотели, чтобы противник смирился и, главное, посторонился с дороги.

Он набирал силу перед войной, а во время эвакуации стал уже значительным лицом в научном учреждении. И вот тут, как рябь по только что гладкой воде, побежали тревожные слухи. Когда учреждение вернулось из эвакуации, он был уже чем-то очень ответственным, потому что именно с ним надо было вести разговор о поступлении в аспирантуру. Он был ответственный и в то же время, как многие возвращавшиеся (они поначалу даже без особой нужды заискивали перед блокадными) — еще очень растерянный, еще непохожий на начальство. Настолько непохожий, что, по ходу разговора, он спросил у претендовавшего на аспирантуру (из блокадных): «А как тут у вас обстоит с этим самым . . . с национальным вопросом?» И застеснялся.

Для него обстояло еще сравнительно благополучно. Он руководил научным учреждением, при фиктивном директоре (из старой гвардии). Он стал вполне похож на начальство и, уже не конфузясь, сидел в своем кабинете за большим столом красного дерева, первой четверти XIX века. Теперь уже речь шла не о том, чтобы верить или не верить, но о том, чтобы как-то усидеть за красным столом. Для этого, в частности, надо было не принимать в аспирантуру-докторантуру тех самых, с которыми обстояло . . .

Так оно шло до катастрофы 49-го. Из института его выбросили, и он кое-как зацепился за свою профессорскую ставку в университете. По этому поводу Г. говорил: «Он будет в университете полы мыть, если декан ему прикажет». Речь шла о молодом декане, достигшем деканства неукоснительной проработкой своих учителей.

Двадцать лет со страхом пополам профессорского существования закончилось для выступающего тем, что завкафедрой, проработчик последней марки, затравил его и выгнал на пенсию.

Вот он собирается говорить на собрании — пенсионер о двух инфарктах. Через что он прошел за свою долгую жизнь, этот неплохой человек, скорее благожелательный? Через какие медные трубы предательства и жестокости?

Н. М. был с ним в хороших отношениях. Когда Зощенко прорабатывали, руководитель учреждения выступал особен-

но развернуто. После чего с надеждой спросил Н. М. у себя в кабинете:

— Ну как, удалось мне сохранить осанку благородства?
— Не заметил,— ответил ему собеседник.

Вот он стоит, некогда взявший меч, тощий, остроносый, и произносит оптимистическую речь (докладчик напрасно выражал тревогу...) с перечислением замечательнейших наших статей, с призывом усилить в работе секции дискуссионность и творческий накал. Он мог бы произнести речь и в другом жанре — самокритическом. Оптимистический он выбрал — сознательно или инстинктивно — как более соответствующий желанию показать, что он еще может принять участие... Тем более, что ему уже оказали внимание, включили в апробированный список подлежащего избранию бюро.

Таков власть имевший. Второй выступавший — власть имеющий. Он всего на пять лет моложе, но историческая дистанция велика. Он из тех, кто формировались в 30-х годах, а развернулись в послевоенных, 40-х. То есть из тех, кто если чему-нибудь верили, а еще больше сочувствовали, то установкам этих лет.

Это тоже периферийное завоевание Ленинграда. В 20—30-х годах инкубационный период (студенческо-аспирантский) в провинциальных педвузах. Потом годы работы в республиканском центре. После войны база переносится (постепенно) в Ленинград. Начиналась большая карьера; развивалась она бурно и неровно, потому что резко выраженные личные свойства не всегда притирались к его исторической модели.

В своем устремлении к власти он был способен на все, что требовалось, и даже на большее. По своему устройству он насильник, но он не чиновник. Это человек даровитый, с охотничьим чутьем на материал, с утробной жадой всего — власти, жирной и пьяной жизни. Его не тронула ни цивилизация, ни культура, вконец разнудали неустойчивые военные годы, проведенные не на войне. В своем роде екатерининский вельможа, выходящий драться на кулачках, а скорее купчик, бьющий зеркала в трактире. По природе пьяница, дебошир, истерик. Знает, что для процветания нужен расчет и удерж. Но часто не может удержаться. Это как скорпион в притче о скорпионе, который на полпути ужалил лягушку, перевозившую его через ручей. «Скорпион! Скорпион! — воскликнула лягушка, — ведь ты погибнешь вместе со мной!» — «Знаю,— сказал скорпион,— но такой уж у меня нрав...»

Ну, конечно, не сообразуясь с реальностью, он вообще не мог бы усидеть. И свои импульсы он то спускает с цепи, то придерживает. Но придерживать противно. Поэтому в нем эта злость и постоянное беспокойство, переходящее в потребность дразнить и дергать людей.

Карьера его большая, но странная. Он жадно хватал любые подвертывавшиеся ему ответственные посты, совмещал их, потом довольно скоро бросал или его побуждали их бросить. Вот уже, впрочем, несколько лет, как он большой начальник. Сотрудникам с ним очень трудно, так как нет в его поведении бюрократического стереотипа. И потому кроме неприятностей полагающихся и предвидимых, он доставляет еще множество непредсказуемых.

Притом он самодур по салтыковской формуле: «А может я тебя, ха! ха! — и помилую!» Самодур с пристрастиями и фаворитами. Собственная даровитость влекла его к настоящим ученым. И в своем роде он действительно хорошо к ним относился (что, понятно, не помешало ему в пору проработок обойтись с ними надлежащим образом). Это от понимания подлинного, которое часто приходилось скрывать, а иногда для самоутверждения хотелось обнаружить; это от презрения к своим дуракам и бездельникам, которое соблазнительно довести иногда до их сведения.

Разводил он их, впрочем, охотно. Некто как-то спросил его доверительно: «И зачем вам такое дерьмо?» — «А я это люблю», — ответил он без запинки.

Доволен ли он? Нет, конечно. Гложут зависть, злость, опасения, вожделения. Инфаркт уже был. В членкоры пока что не выбрали.

Речь свою на собрании он произносит с оттенком директивности. Но он красный, с вздувшейся шеей, с рассеянными глазами в очках. То ли нетрезв, то ли присутствующим так кажется по привычке.

Говорит он все больше о необходимости единения писателей и ученых. Ленинград должен брать пример с Москвы, где подобные контакты уже осуществились.

— Они там контактируют в ресторане ЦДЛ, — говорит кто-то из публики довольно громко.

Третий выступающий — сверстник второго. Кое-чем даже похожий: данными биографии (парень из глухого городка, до университета работал на заводе. В ЛГУ с первого курса — комсомольский деятель); личными свойствами — жадность к жизни, к успеху, хамеж.

Итак, комсомольский организатор; подготавливалось дальнейшее развитие определенной исторической функции. И

вдруг его повернуло. Повернула его встреча с молодым профессором университета. Едва хлебнувший культуры, он почувствовал вдруг, что похож на этого интеллектуальнейшего, ученейшего, блистательного молодого ученого. Не то что подобен, но что этот профессор всем своим обликом и поведением открывает ему какие-то до сих пор неизведанные возможности — ораторского воздействия, педагогической власти над людьми, возвышенного строя личности, свободного парения среди слов и мыслей. И, главное, он чувал всеми своими инстинктами, что этот открывшийся ему захватывающий мир как будто не требовал жертвы; напротив того, сулил процветание (обманчивое обещание). И не грубое чиновничье процветание, а патетическое. Дальнейшее его поприще — популяризация пленительной модели, некогда представшей ему, первокурснику, на кафедре. От учителя он взял многое, но все адекватное собственно психологическому строю — необузданный пафос, актерство (потом он и лекции свои читал со всеми этими приемами). Он применял, изменяя, то, что было совсем другим в контексте большого таланта, безостановочного мышления и труда; что было в этом контексте предсказанием гибели.

Импульсивность порождала разные дела. Одни потому, что он не хотел и не умел подавлять свои вожелания; другие потому, что он не был равнодушен, что соприкосновение с людьми могло вызвать у него реакцию интереса, сочувствия, сострадания; и люди были для него полем приложения энергии. Так, в дни блокады он с успехом заботился о себе, но потому именно мог заботиться о других, подчиненных, товарищах. Он охотно делал добро.

Сокрушительный жизненный напор его учителя, напор ученого, честолюбца, как-то был отрешен от чувственности (он принадлежал к типу семейному). В атлетическом ученике модель материализовалась, стала плотской. Поведение человеческое противоречиво, потому что оно питается разными источниками ценностей, расположенными на разных уровнях. Ученик открыл для себя два источника наслаждения — сферу хорошей жизни, с карьерой и всякими удовольствиями, и сферу пафоса, высоких мыслей и чувств, где пребывание было радостно и удовлетворяло его ораторский темперамент.

Поведение соответственно было пестрым, и поступки совершались разные. Общественная же функция в целом определилась как положительная. Определила ее на ходу встреча с учителем и она же закрыла в конечном счете

большую карьеру. Для карьеры, казалось бы, много данных — видный, почвенный, напористый. Ученый, но, главное, без той культуры, которая раздражает. Казалось бы, свой. Нет, все-таки не свой. И не тот наследственный интеллигент, который своей чуждостью как-то импонирует в тайне. Этот же не свой, но подобный — опасный конкурент, притом шумный, беспокойный, с прожекторами, из тех — кому больше всех надо. В работах его, правда, получается все как следует, — но с душой, без успокоительной жвачки; получается — как бы в порядке непосредственного совпадения.

Подозрительна им также и смесь либерализма, хамежа, высокомерия. Многие позиции на своем веку он терял, многие игры проигрывал. Наконец отвели ему в академическом мире место среднего значения. Выше не пустят. Это он понял, устал, постарел. И, кажется, не надо ему уже больше всех. Но речи он произносит еще патетические — по привычке и в силу физических данных, голоса, роста. О том, что без поддержки журналов нельзя воспитывать смену, он говорит на собрании так, как если бы это было интересно — ему и всем здесь присутствующим.

Четвертый выступающий — это уже другое поколение. Это молодой преуспевающий литературный бюрократ. Ориентацию определяет яркая бездарность; только аппарат может обеспечить ему процветание. Уж этот без завиральности, без самодурства, даже без хамства; напротив того, даже ласковый. Он являет собой идеальное бюрократическое равновесие. Он по-молодому жирный, благообразный. Хорошо одет. Улыбается. Глаза припухшие и беспокойные, на что-то нацеленные или ищущие, к чему-то готовые. У глаз свое выражение, другое, чем у лица в целом. Говорит гладко.

Жадность, напор целеустремленно направлены на блага жизни. Способен потенциально на все, без ограничения; не столько от жестокости, сколько от старательности. Как-то он выступал после того, как ему оказали доверие. Он был в состоянии экстаза. Он любил всех присутствующих. — «Это счастливейший день моей жизни...» — «Ну, этот,— сказал кто-то из присутствовавших,— только его помани, он по телам поползет...»

Не знаю, вполне ли он циничен... Скорее всего, у него есть оправдательные понятия. То есть он считает себя оплотом... Чего? Чего-то очень для себя удобного. Выступает он с административной самокритичностью, но и

с административным оптимизмом суммирует все затронутые темы — от воспитания молодой смены до повышения творческой активности и особенно роли творческих дискуссий.

Того же поколения пятый выступающий. Примерно та же формация. Среда, уровень способностей и культуры, рано сложившаяся служебная ситуация — все предрешало бюрократический стереотип. Но он умнее и гибче. Он поэтому современнее, из тех, для кого существует уже категория общественного мнения. Оно дальновиднее, но пока что чревато неприятностями. Правые экстремисты уже пытались его потеснить. Речь он произносит ортодоксальную с современным научно-статистическим оттенком. Необходимо обратить внимание на наши возрастные показатели, особенно потому, что в США обратные показатели (приводит цифры преобладания в науке молодых). Это опасная конкуренция, и надо принять меры.

Он без лишних жестов. Округлый. Но без жира, улыбки и гладкости. Он еще большого не достиг, а только собирается достигнуть. Он закрытый, потому что еще неизвестно, какой он будет, когда достигнет. Власть имевшие, власть имущие и только еще хотящие иметь.

Очень разные по характеру люди выполняют сходные исторические функции. Переменная соотнесенность исторических функций, личных свойств, ситуаций — устойчивых и преходящих — определяет общественное поведение человека.

Н сформирован еще периодом, когда история предлагала молодому человеку из буржуазно-интеллигентской среды несколько вариантов: комсомолец (не формально, а всерьез), богоискатель (ориентация на постсимволистическую культуру) и другие еще варианты, конформистские и неконформистские. Для отпрысков одной семьи разный выбор могли иногда решить оттенки, незначительные обстоятельства.

В рассматриваемом случае — решающее значение первых социальных впечатлений. Отец — военный. Отсюда сильный, по-видимому, «ребяческий империализм», детская игра в военный склад. Это один из путей к элитарному самоощущению. Пути к нему бывали разные; например, через избалованность богатой семьи или через оторчески

напряженную духовную жизнь — рефлексия, в 14 лет решение мировых вопросов.

Несмотря на пестрый состав (и непринятые в другие вузы, и просто барышни), Институт истории искусств для элитарных ощущений был самым подходящим местом. N тогда был мальчик розовый и очень важный. Важность у него какая-то физически непосредственная, и потому, несмотря на розовость, в нем не смешная. Как все тогда, он был беден, но подтянутый, отглаженный, он без всяких усилий имел вид человека, заранее предназначенного для жизни сытой и привилегированной. Институт для него, как для многих, был второй — после детства — социализацией. Там набирались формального метода, новой поэзии, элитарности, со всем ее кодексом. И там же, кто мог, учился у учителей думать и хорошо работать. Хорошо работать — это N действительно мог и сохранил на всю жизнь эту привычку.¹

Вырабатывалась очень определенная модель. Некоторый снобизм, оформляющий настоятельную потребность в чувстве превосходства, — в удобном для благополучной жизни сочетании с работоспособностью, деловой добросовестностью и хорошей научной школой. Способный управлять, он был бы изобретательным организатором смелых литературных предприятий, если бы смелость начала 20-х годов подлежала дальнейшему развитию.

Вместо того — крушение попутничества и всей интеллигентской самодеятельности. Перестройка ролей. Опять выбор. И какой! — в сущности между возможностью жить и невозможностью.

Есть разные формы официального непризнания. Есть форма лестная и бодрящая, когда переживание авангардизма, свободной умственной деятельности, подъема вполне возмещает отсутствие чинов и даже денег. Такова была ситуация в ГИИИ (в основном она совмещалась там с принятием революции, с политической лояльностью). Но есть формы непризнания, прекращающие деятельность, почти прекращающие существование.

¹ По поводу хорошей и плохой работы: есть халтурщики легкие, и бог с ними («светлый цинизм» — как говорил Алекс. Ник. Нечаев.) Но есть напыщенные тяжеловесы, вообразившие, что они рождены для высших магистерий, а не для фактов, текстологии, аппарата, библиографии — всего того, к чему большие филологи всегда относились с почтением. Всякий раз как кто-либо объявляет, что он выше того-то, следует проверить, не ниже ли он этого самого.

Люди большого напора, направленного вовне (экстраверты), направленного на овладение и властвование, неотвратимо влеклись в стан побеждающих. Тщеславие, честолюбие, потребность в комфорте, разные другие свойства определяли градации поведения. Решающим определителем была также бездарность, потому что бездарность порождала безоглядность. Только талантливые могли крутиться так, чтобы сквозь формулы у них просвечивала какая-то суть. Крутились же все, во всяком случае, все, пытавшиеся осуществиться. Это было первичным условием, а градацию можно было выбрать. Очень важно. Градация определяла ценность осуществляемого и цену вознаграждения — от жирного пирога до пайка нищеты.

Итак, сначала приспособление, потом овладение ситуацией. N — человек вовне направленного напора. Организатор. Это материал для сановника. Пригодилась и с годами созревшая юношеская важность. Постепенно — потребовался долгий срок — он и становится сановником средней руки. Модель доброго сановника. В ее оформлении принимают участие личные свойства. Свойственная ему первичная способность реагировать на положение другого человека, способность сочувствия. N внимателен. Его любили подчиненные. Именно это доставляло ему удовольствие.

Другие личные свойства образуют злого сановника, вредоносного. Например, B-ов. B-ву удивлялись — зачем большому ученому, талантливому человеку это карьерное бешенство (уничтожившее в нем ученого), это раболепство, не нормально бюрократическое, а иступленное. Знавшие B-ва смолodu, удивлялись и другому. Молодой он был дерзким задирой, ниспровергателем любых авторитетов, стоявших на дороге его необузданного самоутверждения. Как же так? Именно так. Молодой B-ов страстно хотел оскорблять людей и не выносил ни малейшего противодействия. Что же нужно для того, чтобы невозбранно оскорблять людей и не получать отпора? Нужно для этого стать вельможей. А для того чтобы стать вельможей, нужно все вышеописанное.

N был добрым сановником, и сановником несравнимо меньшего масштаба. Так что сановничество не заполняло всего пространства, отведенного в человеке под переживание автоценности. Начисто оторваться от соблазнов и навыков молодости — это значило бы отказаться от вкоренившегося самоощущения, разрушить первичные формы

жизни; а формами жизни он дорожил, потому что умел их строить.

Отсюда двойное бытие. Эстетизм в частном быту, плохие стихи в умеренно современном роде. Но двуплановость проникла и в общественную функцию этого человека, сделала ее положительной — по практическим достижениям и целям. Задача: пользуясь самыми конформистскими и даже приносящими процветание средствами, стремиться к обнародованию непризнанной литературы. Формула, конечно, чреватая жесточайшей путаницей, вплоть до оплевывания писателей в качестве единственного способа их издать. Кое-что здесь от старого некрасовского комплекса: какова цена существования «Современника» и до какого предела позволительно ее повышать?

Выстраивается цепочка оправдательных понятий. Цепочка протягивается в прошлое к кругу порядочных людей, деятелей большой культуры, который человек считал своим. Любопытнейшее явление — эта защитная иллюзия необратимости. Выработывалась, скажем, в молодости определенная установка и кажется, что это и есть суть личности, а все, что напластовалось потом: все уступки, грехи, ошибки — все это детерминированное обстоятельствами, вынужденное, преходящее, несубстанциональное. И человек замораживает свою бывшую модель, давно уже отколовшуюся от поведения.

Но чем-то нужно все же питать этот призрачный образ. Воспоминания молодости — они становятся все нежнее, все лиричнее воспоминания предаваемой молодости; отношения с людьми, которые оттуда, из этой молодости. Особенно с людьми, сознательно оставшимися за порогом признания. О таких говорят ласково, с интонацией самоосуждения: «Этого человека я уважаю. Он построил свою жизнь, как хотел». — Да, как хотел. Только большая часть этой жизни ушла на темную работу, только порой он не имел рубля на обед. Но вам он не сообщал об этом.

Сохранение уже несуществующего своего образа позволяло человеку сохранять критерии суждения и осуждения, казалось бы, несовместимые с его поведением. Эта кажущаяся несовместимость — явление самое распространенное; объясняется оно тем, что поступки и оценочные суждения детерминированы по-разному. Есть люди, которые не любят умываться (лень, холодно, мокро), но знают, что это следует делать, и посвящены в правила гигиены. Они с искренним презрением и брезгливостью относятся к

людям, не умывающимся простодушно. Поведение детерминировано страхом, страстями, желаниями, способностями, ситуациями; суждения — идеалами и нормами, внушенными средой, вкоренившимися. Человек видит себя изнутри и делает скидку на желания и страх; другого он видит извне и примеряет к нему нормы. Для согласования собственного поведения с нормами нужен строй общества или общественной группы либо отчетливо традиционный, либо проникнутый живой идеологией.

Несовместимость поведения и суждений порождает любопытные казусы. Один литератор, заморозивший свою юношескую модель, был шокирован, когда его приятель, приехав на несколько дней, остановился у бывшего проработчика. Приятель, с его мнительностью и мизантропическим нравом, сразу забеспокоился. Знающие ситуацию объяснили ему, что напрасно. Проработчик, довольно злостный в молодости, давно уже успокоился на достигнутом, зная, что дальше его не пустят. Занимается сейчас мирными делами, даже модными. И он сейчас не позволил бы себе ничего по раболепству и неприличию подобного некоторым статьям шокированного литератора. Но все же тот, по воспоминаниям молодости, уверен, что из них двоих именно он принадлежит к хорошему обществу. И никого это не удивляет.

Что же касается N, то существование его протекало в двух сферах, официальной и неофициальной (книги, стихи, комфорт). Вторая сфера просвечивала сквозь первую, где-то мерцала в глубине, придавая N специфику, отличавшую его от стадного бюрократа. Такие тоже нужны и, скорее, дефицитны; что и способствовало достижениям в первой сфере. Но в этих же соотношениях таился и зачаток катастрофы.

Для каждой среды существуют свои и не свои. Категория эта не определяется ни поведением, ни занимаемой должностью; она почти иррациональна и осязаемых определений не имеет. N был своим все же в другой среде, совсем не в той, где он проявлял усердие и где интеллигентность не прощают. Не помогают ни старания, ни заслуги. Попытки обойти этот закон погубили многих.

Большие представители среды ему не доверяли, малые завидовали, он раздражал их высокомерием, чужеродными манерами и привычками. Падение с неизбежностью назревало. С разных сторон подстерегали ошибку и, как всегда в таких случаях, дождались. Падение было шумным, с

проработками на высоком уровне, с уходом по собственному желанию с ответственного поста. Со всем набором сопровождающих явлений.

После катастрофы в сознании N неофициальное начало, разумеется, оживилось. Теперь-то можно было без помех осознать себя пострадавшим борцом за культуру, принимать дань сочувствия и, главное, осуждать: «Такой-то? Ну, что о нем говорить. Темный человек. Просто прихвостень директора. Играет поэтому самую двусмысленную роль . . .»

Или:

— Черт знает что все-таки делают из поэтов! Ортодоксов каких-то. Конечно, я в свое время тоже . . . Но тогда это было необходимо, чтобы . . . И не до такой же степени . . .

Но тут же старания возратить утраченное хоть частично. Все то же. В психологическом выражении — жизнь на два душевных дома, и переживается она не как дурное — лицемерие, обман, а как своего рода правила игры в двух разных играх. Когда-то, помню, это поразило меня при общении с молодыми преуспевающими писателями 30-х годов (мы были воспитаны иначе). Они же вовсе не чувствовали себя обманщиками. Они просто знали, что литература это такая область, вступая в которую нужно врать. Это было свойством, профессиональной принадлежностью данного рода деятельности. Позднее появилась теория, что в официальной сфере моральные нормы заранее сняты (такое условие), а для частной жизни они остаются. Теория эта должна была помочь жить и выжить. Не помогла.

Если человек не прекращен окончательно, то постепенно, со скрипом, он возвращает утраченное. Так и N понемногу опять завоевывает доверие. N конформист по всему своему душевному устройству. Именно это позволяет ему оставаться доброжелательным. Не надо делать зла, но надо соблюдать существующие условия, правила. И, соблюдая, стараться быть хорошим. Бессмысленная фронда этого не понимает — тем хуже для фронды. Фронда раздражает его, потому что пытается опровергнуть избранное им поведение.

Рассказывал кто-то о нашумевшем выступлении Галича, кажется, в Новосибирске, и N сразу сказал: «Да, да, он там в далеких местах сразу распустился. Зато его здорово и стукнули . . .» Он сказал это с удовольствием и со вкусом. Когда в Секретариате допрашивали давнишнего знакомого — «подписанта», он тоже допрашивал, не без снисходительности, но важно и обстоятельно. Что ж, каждая

ситуация имеет свои правила. А вскоре самого N прорабатывали на собрании у очень значительного лица, и лицо, подозвав его, не предложило ему сесть. Эта ситуация также имела свои формы.

Частичное возвращение к власти потребовало особых стараний. Опять предоставили возможность возглавить важную комиссию, оправдать доверие. Уже лицо (другое, но тоже ответственное) сказало, что это хорошо, что N возглавил комиссию, что это ручательство за ее работу.

В гостях у приятелей N со вкусом, в качестве интересной истории рассказывал о том, как они в комиссии прорабатывали такого-то. Рассказывал не стесняясь. Действуют по своим правилам необходимые механизмы, и он нужная часть механизма. Компенсацию тоже надо учесть. После глубокого унижения соблазнительно подержать другого в своих руках — даже добродушному человеку.

Но, оказывается, порядочность — это как лютеранская благодать: осеняет и от дел не зависит. — «Приятно, — говорит N кому-то по телефону, — возглавлять эту комиссию. Там все собрались вполне порядочные люди».

Действие механизмов все знают про себя и признают для себя; извне же оно не нравится. Взаимные извнеоценки выстраиваются в любопытную цепочку. А. со вкусом рассказывает о Б. — как он в угоду вышестоящим пытался провести кого-то в Союз, минуя несговорчивые промежуточные инстанции. «Но мы его, конечно, остановили. Пусть все делается законным порядком». Но о Б. дурно говорит В.: «Нехорошо вел себя Б., когда выносили выговор. Кричал на человека. «Мы его предупреждали . . .» И причем тут «мы»; говори за себя . . .» Но о В. дурно говорит Г., работая с ним в одном аппарате: «Связался с самыми темными людьми. Злостная антиинтеллигентская позиция». Но о Г. говорят после заседания: «Очень странно он себя вел. Говорил: а уверены ли вы в том, что вам надо печататься? А вот Мандельштам выгнал молодого поэта, приставившего к нему с тем, что его не печатают. — Ну, Мандельштам Мандельштамом . . . А Г.-то как-никак сам хочет печататься . . .» Путаются звенья цепочки взаимных осуждений. Разобраться трудно. Ориентиром может служить трехчленное соотношение — общественная функция, поведение, личные свойства — с его несовпадающими показателями ценности. Общественная функция — это результат деятельности, и у N результат был положительный.

Функциональная социология утверждает, что социальную роль человека определяют ожидания среды. Но социальные роли — это также формы воздействия на среду. Типология этих форм простирается от очень конкретных определений до самых общих социально-психологических предпосылок; она неотделима от этики поведения, так как свой тип воздействия на среду человек мыслит в категориях ценностей — иначе зачем бы он стал воздействовать?

Организаторы. К этому типу принадлежит описанный здесь N. Это — деспоты, вожди, администраторы. Сочетающие волевой напор с умением и желанием управлять. Они властолюбивы в большей мере, чем честолюбивы или тщеславны. Этот тип встречается на любых социальных уровнях. Даже среди домашних хозяек.

Обольстители. Это тип проповедника, наставника, актера, очаровательной женщины. Этим нужно непосредственное воздействие. Обязательное переживание прямого, физически ощутимого, сиюминутного контакта. Всякая художественная среда кишит самолюбиями. Но нигде все же нет таких адских самолюбий, как в театре. Это потому, что успех свой и соперника там материализован. Он синхронен творческому акту. Он измеряется на глаз и на слух и не оставляет лазеек для самообмана.

Созидатели. Они не хотят управлять и для них необязательно очаровывать. Волеизъявление их опосредствовано продуктами их творчества и труда. Так овладевают они душами и умами. Нет созидания без упрямства и воли. Но воля бывает порой целенаправлена только на созидание. В остальном они могут быть рассеянны и безвольны. В остальном они могут быть управляемы.

Практически черты этих типов предстают, конечно, в смешанном (иногда до аморфности) виде. Но есть и решающая направленность, позволяющая различать типические формы воздействия на среду (оставляя в стороне всяческую другую типологию личности).

Первому типу (организатор) необходимо активное, волевое воздействие вовне, поэтому он, в зависимости от различных данных и обстоятельств, дает и деспотов, и революционеров, и администраторов, которые применяются к любым позволяющим действовать условиям. Администраторы не притязают на высокую этическую оценку, а ценность их исторической функции зависит от тех начал, к которым они применились.

Третий тип, тип созидателя более других способен к независимому поведению. Поскольку свою историческую функцию он реализует в самом творческом процессе. Социальная реализация вовне есть необходимое завершение этого процесса; необходимое, но не прямолинейное, не непосредственное. Личные свойства людей этого типа могут быть притом самыми жесткими. Даже должны быть, потому что неизбежен самозащитный рабочий эгоизм. Второй тип (обольститель) в чистом виде — женская разновидность (в других разновидностях сочетается с чертами первого и третьего типа). Это жажда непосредственного воздействия своим телом и духом; не отчужденными продуктами своего творчества или результатами своих волеустремлений. Непосредственность воздействия сплетена с любованием своим телом и духом, до патологии (нарциссизма) дошедшем, например, в дневниках Башкирцевой.

В тех случаях, когда обольститель одновременно деятель, созидатель, он особенно резко ощущает свою роль, маску, person'у; ему нужно, чтобы им любовались, любитесь и он сам. Это может породить поведение стойкое, смелое. Иначе ведь маска распадется.

Вот большой ученый. Один из вождей авангардистской группы в науке, связанной с авангардистской литературой. Таков он по своей общественной функции. По типу воздействия на среду он великий шармер. И это как бы женское начало его натуры, — совмещающееся с твердостью, работоспособностью, дисциплиной. Женское начало — ключ к значению его неповторимых улыбок, к изяществу его страшных полемических реплик, к его горестным сетованиям на то, что вот ему исполнилось уже сорок лет, и к прочему, что в мужчине сбивало с толку, а в женском характере сразу находило себе место. И даже та самая форма честолюбия, непосредственная, актерская. Нужны не высокие звания, не включение в иерархию властей, а другое — физически ощутимый успех, любующаяся аудитория.

Он встречает гнев учеников улыбкой, в непобедимости которой не раз имел случай убедиться, а возражения противников — справками из своей биографии. Доказательства — верхний слой, а под ним толща шарма, нескромной и неотразимой игры фактами личного обихода.

Женское начало: прелесть автобиографических реминисценций, простодушная небрежность в обращении с теми,

кто любит, и отвращение к горечи, накопившейся в этой любви, и желание заменить всех новыми, легкими людьми без горечи, без претензий и путаницы застарелых умолчаний. Все это, переключенное в регистр отношений: учитель — ученики.

Личные свойства... Что ж, личные свойства, присущие шармерам-созидателям: холодность, жесткие реакции на запредельное их созиданию. От равнодушия к людям, неразборчивость. Не все ли равно? К пошлякам их даже тянет.

Зато поведение общественное единственное в своем роде. Поведение было возведено в осознанную историческую роль. Ценою лишений и риска платил он за то, чтобы сберечь person'у. Это был истинно бесстрашный человек. Что не противоречит натуре — избалованные женщины бывали порой особенно бесстрашны. Собрание. Ритуальная формула председательствующего. Кто за? Кто против? — Никого против. Единогласно. И вот почти в нулевом промежутке между «никого против» и «единогласно» он поднимает руку — один в задержавшем дыхание зале. Позднее ему стали нравиться должности и знаки отличия. Но относился он к ним отчасти как к игре или к экзотике, то есть к чему-то ему неподобающему и поэтому для аудитории занимательному. Игрушки эти ему то давали, то опять отбирали. Когда давали, тщеславился; когда отбирали, у него тут же, всегда наготове, было его велоколепное упрямство.

NN тоже ученый новой формации и большого размаха. Но это уже другое поколение. Разные судьбы людей этого круга и поколения, его сверстников и товарищей. Среди них были люди исследовательского склада и высокого напряжения, которые при всех обстоятельствах продолжали работать про себя, потому что не могли иначе. Другие, того же склада, но слабого напряжения, заторможенные, растворялись в общей нереализованности.

У NN как раз было двое друзей, научно и человечески очень близких, которые воплощали собой оба эти типа. Они являли втроем любопытную градацию применения возможностей.

NN был из тех, кто от бездействия физически болен, реализацию же мыслит только вовне. Но NN это особое, сложное психологическое устройство. Он тоже был из числа обольстителей, только просветительского, ораторского типа — учитель, проповедник. Он писал коряво, а гово-

рил стройно. Он сам утверждал про себя, что думает, когда говорит, и что истинное его призвание быть проповедником. Оратор в нем скрещивался с организатором. Он не мог бы удовлетвориться любованием аудитории. Он хотел вести за собой, управлять, овладевать душами и умами. Та же нервная возбудимость, обращенность вовне порождали интерес к чужой жизни, сочувствие, но только к находившимся в орбите его воздействия (ученики); к прочим он относился благожелательно (как человек, скорее, добрый) и равнодушно.

В науке NN начинал вольными мыслями, авангардизмом. Когда же он понял, что действовать и воздействовать можно только в узаконенных формах, он эти формы принял, и по своей необузданности в их применении не знал ни удержа, ни разбора. А сквозь них продиралась мысль. Сильная мысль, огромный исследовательский темперамент мучительно не прилаживались. Воля к воздействию уходила в бюрократические игры, чреватые гибелью.

Если бы шармер дожил до ренессанса, он с удовольствием занял бы место патриарха, окруженного почитанием, тем осязаемым любованием его личностью, которое и есть суть отношения шармера со средой. NN, забыв начисто свои уступки, вернулся бы к первоначальным средствам восхищения умов.

Другое дело N, не шармер и не ловец человеков. Он администратор и ему нужно занимать положение. Он администратор способный, поэтому положение он хочет занимать добросовестно, профессионально, с пользой для дела. Занимающему положение, сановнику, незачем возбуждать личное восхищение, ни владеть умами — он к этому и не способен. Но то, к чему человек не способен, раздражает его, вызывает сопротивление, сознательное и бессознательное. Отсюда косность, которую N проявляет, устно и печатно. Он даже не заметил перемен, совершающихся процессов. Остался при наборе, от которого уже отказались самые отъявленные. Все удивляются, а, в сущности, оно понятно.

Три личности положительной исторической функции и разного поведения, разного соотношения между поведением и свойствами человека.

NN, при личных свойствах скорее доброго человека, присуще поведение отрицательное, потому что ему во что бы то ни стало нужно активно владеть средой. А это

оказалось возможным только в казенной форме. Губительная смесь мыслей с официальными формулами.

В структуре сановника (тоже неплохой человек) к подобному поведению приводят противоположные причины — отсутствие интереса к духовному воздействию, порождающее косность позиций.

Если установить последовательность: функция — поведение — личные свойства, то получается:

+ - +
+ - +

Разумеется, это схема грубо функциональная, игнорирующая действительные сплетения душевной жизни.

Устроили как-то дружескую встречу старики, помяная молодость двадцатых годов.

Спели свою студенческую песню про несдавшихся учителей. Выпили.

Из тех, кто сидел за дружеским столом, двоих прямо подозревали... Может быть, и напрасно. Сидели за столом — и издательский комбинатор, и усердный чиновник, и цветисто умильный литератор. Лучшие из присутствовавших только применяли формулы — кто побольше, кто поменьше.

Пели про стойких, хвалили смелых. Играя отраженным светом, испытывали удовольствие от собственных похвал. Механизм этот выше мною уже описан. Служившим, халтурившим, спекулировавшим — всем показалось, что за этим столом они возвращаются к собственной сущности, спихнув за скобки ну то, без чего просто нельзя было жить, и чем они жили лет сорок.

Как человек любит быть хорошим, когда это для него удобно!

Путаница. И в путанице мерцает представление о собственной исторической функции. Они издатели неодобренных поэтов, о которых они невесть что писали в предисловиях, но издавали... Они ученики великолепных ученых, от которых стрекались, но у которых научились... Отрекались же изнутри, с пониманием.

Вот она где черта, отделяющая человека, с которым мы садимся за дружеский стол, от человека, с которым не садимся, который без понимания и не поет о стойких и смелых.

III

О ПИСАТЕЛЯХ

ЭВФЕМИЗМЫ ВЫСОКОГО

О дружеском письме людей пушкинского круга писали уже неоднократно. Писали о нем как об особом «литературном факте» (Тынянов) и жанре, отличающемся от других видов письма тех же корреспондентов, — об его структуре, тематике и стилистике. Дружеское письмо имеет и свою аксиологию, свои способы выражения жизненных ценностей.

В произведении литературы слово всегда так или иначе оценочно. Сугубо проявлена эта оценочная окраска в поэзии, особенно в лирике. Лирика — своего рода демонстрация ценностей. Бытовая, разговорная речь может быть и чисто коммуникативной. Если, скажем, один прохожий спрашивает у другого, как ему пройти туда-то, — вопрос и ответ могут не содержать оценки. В то же время бытовая устная речь допускает интенсивную окраску социальными, нравственными, эстетическими оценками.

Все это относится и к бытовому письму. Этот род словесности многообразен. Он бывает совершенно стихийным, даже безграмотным; он строится иногда по книжным канонам или, напротив того, стремится создать иллюзию устной речи. В определенные эпохи и в определенной среде письмо тесно соотносится с современной ему литературой. И все же в любом случае оно сохраняет специфику промежуточного рода высказывания.

«Надеюсь, — пишет в 1830 году П. Вяземский жене, — что мое письмо мило, умно и забавно. Прошу беречь его: оно тоже смотрит в бессмертие, и если через сто лет не дадут за него Павлуше (сыну Вяземского. — Л. Г.) тысячи рублей, то дам себя высечь на том свете не в счет сечения, которое придется мне и без того». Это шутка, но из числа шуток целенаправленных. Вяземский осознавал как потенциальный литературный факт не только свои письма к Пушкину или Александру Тургеневу, но и письмо к жене, наполненное домашними, бытовыми подробностями. Следует, однако, отличать бытовое письмо, осознанное как литературный факт, от письма с заведомо литературной функцией (эпистолярные трактаты, размышления, не говоря уже о романах и путешествиях в письмах). У них

разные субъекты высказывания. В бытовом письме человек может себя моделировать,¹ но даже в самом литературном бытовом письме он ведь не равнозначен ни лирическому я, ни автору повествования, отрешенному от автора как эмпирической личности. В бытовом письме к литературным моделям возводится именно эмпирический человек. В этих письмах отношение к ценностям предстает непосредственным, не прошедшим через условия художественной структуры. Письма деятельных участников культурного процесса (именно их письма больше всего сохраняются и изучаются) представляют собой особенно наглядное, не заменимое другими свидетельство о состоянии данного исторического сознания, в частности о его ценностных ориентациях.

В России тип дружеского письма складывался уже во второй половине XVIII века (Фонвизин, Львов, Капнист, особенно М. Муравьев). Но особое значение дружеской переписки 10—20-х годов в том, что корреспонденты — А. Тургенев, Батюшков, Вяземский, Пушкин, Денис Давыдов — достигли высокого эпистолярного искусства, и, главное, в том, что они осознали его как искусство.

Участники переписки были современниками западного романтизма и, конечно, как-то прошли через общеевропейский опыт. Но подлинное, хотя и недолговременное, развитие русского романтизма относится уже к периоду после катастрофы 1825 года. Люди 10—20-х годов, поры дворянского вольнолюбия и дворянской революционности, еще решали задачи национальной культуры на почве просветительства и рационализма, унаследованных от XVIII века. Романтические веяния не могли их миновать, но они своеобразно ассимилировались исходным рационализмом. С рационализмом — и при самом своем зарождении, и позднее — вполне уживался сентиментализм. Недаром сочетание чувствительности с рассудочностью — характернейшая черта творчества Руссо.

Деятелям русской культуры 10—20-х годов еще присущее иерархическое жанровое мышление, в истоках своих восходящее к классицизму, по сравнению с классицизмом, понятно, смягченное, превратившееся в тенденцию. Жанровое мышление в литературе основано на представлении об

¹ Например, молодой Герцен в своей романтической переписке с невестой (30-е годы) предназначал себе роль демонической личности, а невесте роль носительницы начала Вечной женственности, спасающей «демона».

иерархии разных, разумом расчлененных уровней бытия. Разные сферы ценностей — религиозная, государственная, сословная, гражданственная, эмоциональная и эротическая, даже сфера дружеского разгула, соотношенного с вольнолюбием и протестом, — все они, при всей их взаимной противоречивости, могли совмещаться в опыте одного человека, иерархически располагаясь в его пределах.

Поэт, принадлежавший к этому культурному пласту, мог одновременно, не разрушая свой авторский образ, писать оды и элегии, идиллии и сатиры, медитации и дружеские послания. Система эта противостояла романтизму, соединявшему двоемирие (бесконечное и конечное) с метафизически понимаемым единством души поэта.

В переписке людей первых десятилетий века отчетливо выявилось жанровое мышление (разные типы письма, разное стилистическое выражение тем разной высоты) и процесс преодоления этого иерархического мышления. Ведь в переписке участвовали деятели разных поколений. Жуковский родился в 1783 году, Пушкин в 1799-м Их объединил «Арзамас».

Культурное сознание старших арзамасцев, Жуковского, А. Тургенева, формировалось на рубеже XVIII и XIX веков; они воспитаны сентиментализмом и масонскими традициями, господствовавшими в доме Тургеневых (глава семьи Иван Петрович Тургенев был одним из крупнейших московских масонов) и в университетском Благородном пансионе, где обучались братья Тургеневы и Жуковский.

Дневники и письма молодого Жуковского исповедальны, сосредоточены на идее самосовершенствования, воспитания в себе «внутреннего человека». В 1805 году Жуковский пишет А. Тургеневу: «Я нынче гораздо сильнее чувствую, что я не должен пресмыкаться в этой жизни; что должен образовать свою душу и сделать все, что могу, для других . . . Будем полезны своим благородством, образованием души своей . . . Ах, брат, не надобно терять друг друга! . . . Надобно быгь людьми непременно! Я это чувствую! Мы живем не для одной этой жизни, я это имел счастье несколько раз чувствовать! Удостоимся этого великого счастья, которое ожидает нас в будущем, которому нельзя не быть, потому что оно неразлучно с бытием Бога!»¹

¹ В. А. Жуковский, Собр. соч. в 4-х томах, т. 4, М.-Л., 1960, с. 451—452.

Здесь о высоком говорится высоким слогом. Душевное благородство, самосовершенствование, дружба, религия — все это безусловные ценности, и о них сказано прямо и однозначно. В ранних письмах А. Тургенева — к братьям, к Кайсарову — много бытовых и академических подробностей, рассуждений, наблюдений, но в минуты жизненных испытаний он сразу переходит на язык чувствительности и патетики, близкий к языку Жуковского. Тема смерти любимого брата Андрея (утрата величайшей ценности) вызывает высокую лексику, торжественные интонации. Выражение находится в прямом соответствии с содержанием высказывания.

В середине 10-х годов у тех же корреспондентов нашлись другие возможности эпистолярного стиля. Наступает пора арзамасской буффонады, по выражению арзамасцев — «галиматьи». Автором большей части арзамасских протоколов, с их тяжеловесной — на нынешний вкус — и вычурной пародийностью, был Жуковский. Арзамасский стиль проникает и в письма Жуковского: «...Недавно уведомили меня, что наш почтенный Староста *вог я вас* (В. Л. Пушкин. — Л. Г.) осрамил себя и Арзамас дурными стихами и что он за это в экстраординарном заседании отставлен от должности Старосты, и переименован *вогрушкою*, и отдан на съедение Эоловой арфы (арзамасское прозвище А. Тургенева. — Л. Г.)»¹

Почему крупнейшим мастером «галиматьи» стал именно мечтательный, меланхолический Жуковский? Это возможно было именно в силу иерархичности расчленяющего мышления. Арзамасская буффонада — это выщучивание «халдеев» «Беседы», чья деятельность воспринимается с отрицательным знаком оценки. Это и самовыщучивание, пародийно противостоящее надутой торжественности «халдеев». У подобного самовыщучивания был, таким образом, обратный смысл подразумеваемой собственной ценности. Тогда как романтическая ирония брала под сомнение и собственные ценности, вела с собственной ценностью сложную игру.

Жуковский (как и другие старшие арзамасцы) смеялся над смешным и пародировал отрицательное. «Галиматья» — особая сфера, не пересекающаяся со сферами меланхолии, мечты или пафоса и порывов в бесконечное.

¹ В. А. Жуковский, Собр. соч. в 4-х томах, т. 4, с. 570.

Под конец в «Арзамас» пришли деятели (Николай Тургенев, Михаил Орлов), для которых противником была не «Беседа любителей русского слова», а русское самодержавие. С этим врагом предстояло бороться не пародиями, но совсем другими средствами. Появление в «Арзамасе» декабристов, как известно, ускорило его распад.

В «Арзамасе» перед распадом сошлись и столкнулись два типа сознания. Люди, совмещавшие обособленную сферу буффонады и «галиматьи» с неприкосновенной для них сферой религиозных, вообще потусторонних ценностей (Жуковский, Александр Тургенев), и люди декабристской ориентации. Те и другие исходили из *безусловного*, и соответствующая тема побуждала их пользоваться адекватным ей оценивающим (положительно или отрицательно) языком.

Это относится к декабристам и старшего и младшего поколения. Так, в письме Александра Бестужева к Вяземскому (1824), среди литературных и общественных новостей, возникают вдруг строки: «Я пристрастился к политике, да и как не любить ее в наш век — ее, эту науку прав людей и народов . . . этот священный пламенник правды во мраке невежества и в темнице самовластия».¹

Здесь с предельной прямоотой выражено отношение к ценностям и антиценностям. В переписке декабристов присутствует, конечно, шутка — обычная принадлежность «партикулярного письма» (выражение Пушкина) эпохи. Но комическое не возведено у них в систему, не имеет структурного значения.

Другую, противоречивую картину представляют характерные образцы эпистолярной прозы людей декабристской периферии, захваченных вольнолюбивыми настроениями (захвачено ими в той или иной мере было почти все образованное дворянство), но не принадлежавших к тайным политическим организациям.

Существовали тогда как бы две модели исторического характера — декабристская и онегинская. Изобразить декабриста Пушкин по цензурным причинам не мог. Он изобразил Онегина, хотя в окружении Пушкина, ближайшем и даже более отдаленном, собственно, не было людей в точном смысле онегинского типа. В Онегине сосредото-

¹ А. А. Бестужев-Марлинский, Сочинения в двух томах, т. 2, М., 1958, с. 621.

ны тенденции, связывавшие определенный слой русского общества с общеевропейским «современным человеком»

С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Лермонтовский Печорин в последекабристскую пору был психологически конкретнее. Печоринская модель размножилась в обществе, так же как ее вульгарная разновидность — тип Грушницкого.

Сам Пушкин совсем не Онегин, но некое онегинское начало присуще ему как человеку, оставшемуся за пределами политических организаций 20-х годов. О существовании тайных обществ Пушкин более чем догадывался, — он с ними соприкасался и страдал от своей отторгнутости. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях Пущин.

Пушкин принадлежал к среде, для которой существовали ценности, так сказать, прирожденные, само собой разумеющиеся — понятия чести, родины, общественного блага, поэзии, любви. Это был общий ценностный фон, обязательный и для тех, кто не принадлежал ни к активным носителям религиозно-мистических идей (Жуковский), ни к деятелям дворянской революции. Выработался особый склад сознания. Оно ушло уже от сентиментализма старшего поколения, романтизм не был для него органическим переживанием. В истоках своих оно ближе к французской традиции просветительского, вольтерьянского скептицизма.

В своем творчестве человек этого склада исходил из ценностей общественного и внутреннего, субъективного порядка. Они были для него неоспариваемой данностью. Но в частном своем обиходе, в качестве эмпирической личности, он запрещает себе говорить о высоком и прекрасном прямо соответствующими словами. Духовные, идеологические ценности тоже нуждаются в гарантии. Скептик как бы боится оставить неоплаченным счет, предъявленный безусловным. В частной жизни (в отличие от творчества) он не берет на себя эту ответственность. Он боится, как бы слово не оказалось больше своего предмета, и только порой позволяет подглядеть предмет сквозь разговорные, обиходные, шуточные речевые пласты.

Романтическая ирония работала иначе; она размывала границы между смешным и серьезным, одновременно утверждала и отрицала ценности. Словоупотребление русских вольнодумцев 20-х годов не исключает ценности; оно их прячет, маскирует просторечием, шуткой, даже сквер-

нословием. Так возникают своего рода *эвфемизмы высокого*.

Все это можно встретить в письмах Дельвига, Баратынского, других сверстников Пушкина. Но в письмах Пушкина эти тенденции находят свое полное выражение.¹

Вяземский был на семь лет старше Пушкина; все же ближе всего к пушкинской именно его эпистолярная манера. Хотя Вяземский чаще прибегает к ораторскому тону, к языку политической, публицистической прозы. Замечательный документ времени — переписка Вяземского с А. Тургеневым, собранная в четырех томах «Остафьевского архива». Обычно ее рассматривают как некое целое. Между тем эпистолярная позиция Тургенева другая. Она восходит к сентименталистским традициям его молодости, к арзамасской установке смеяться над смешным, а не над любыми явлениями жизни.

В дружеских письмах Пушкина конца 10-х и 20-х гг. шутка — это уже не изолированная область «галиматьи». Шутка в разных ее формах — сатиры, буффонады, пародии, иронии — это особый «смеховой мир», развернутая, напряженная система восприятия, охватывающая все: от несомненных для Пушкина ценностей до заслуживающего вражды и презрения. В частности, до притеснительных требований политической власти.

О высоком можно и должно было писать в стихах и литературной прозе, в письмах, посвященных важным материям (французские письма к Чаадаеву, например). В стихах он писал так и об объективно значимом, и о личном — несчастная любовь, сердечные испытания, слезы, пени. Это можно, потому что личное стало здесь общим и потому что между автором и читателем — защитный заслон поэтической условности. Тот же автор в письмах запрещает себе выражение чувства, не защищенного обобщающей поэтической формой, вообще выражение «внутреннего человека».

Парадоксальное соотношение: в дружеском письме, казалось бы самом интимном роде словесности (таким оно и было, скажем, в 30—40-х годах), интимность оказывается запрещенной. Интимное — в преображенном виде — становится достоянием литературы, предназначенной для

¹ Речь идет главным образом о письмах Пушкина 20-х — начала 30-х годов. В последние годы, наряду с многочисленными письмами к жене, преобладают письма деловые, вообще коммуникативные.

публики. Баратынский в письме к Ивану Киреевскому (1832) назвал этот запрет «застенчивостью чувства».¹

Пушкин реагировал очень резко, когда на застенчивость его чувства посягали. 25 августа 1823 года он пишет брату из Одессы: «Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врет — например, он пишет в Петербург письмо, где говорит, между прочим, обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille² — любовь и пр. . . . дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана . . . сказав, что я не желал бы ее (поэму, — Л. Г.) напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!»

Пушкин вовсе не отрицет высокую ценность (в данном случае любовь), он только прибегает к защитной маскировке, за которой позволено угадать истину. Что такое — «глупо влюблен»? Это означает на самом деле — мучительно, безнадежно. Шуточное словоупотребление основано на несовпадении, оно достигает цели окольным путем. Слово не прилегает вплотную к реалии, между ними остается пространство, в котором рождаются колеблющиеся значения.

В письме к брату Пушкин маскирует личный сердечный опыт. Но в своих письмах подобным образом Пушкин обращается и с темами общечеловеческими. Он шутит над поэтическим делом своим и своих друзей, вплоть до комических сравнений процесса творческого с физиологическими отправлениями. В письме к Вяземскому (6 февраля 1823 года) Пушкин писал: «Другим досадно, что Пленник не кинулся в реку вытаскивать мою Черкешенку — да, сунься-ка; я плавал в кавказских реках, — тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь . . .» В начале декабря того же года Пушкин пишет Вяземскому по поводу «язвительных лобзаний» в «Бахчисарайском фонтане»: «Дело в том, что моя Грузинка кусается, и это непременно должно быть известно публике».

Разговор о назначении поэта, о вдохновении предоставлен автору стихов; в письмах Пушкин настаивает на позиции профессионала, продающего плоды своего вдохно-

¹ «Татевский сборник С. А. Рачинского», СПб., 1899, с. 39.

² Бумажник (фр.).

вения: «... на конченную свою поэму ^с . . . , как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом» (письмо Вяземскому, март 1823).

Тема «моей родословной», тема предков, Пушкиных и Ганнибалов, была для Пушкина острой, даже болезненной. Это не мешает ему в письме к брату (январь 1825) упомянуть об «арапской роже» «нашего дедушки», которую он хотел бы видеть в картине Полтавской битвы.

Комически обыгрывается и тема смерти. Поведение Пушкина всегда было отмечено непреклонным мужеством перед лицом смерти; в своих творениях он посвятил ей много высоких раздумий — в письмах он шутил. Люди 20-х годов не старались обходить эту тему и обращались с ней непринужденно. В августе 1831 Пушкин пишет Вяземскому из Царского Села: «20 августа, день смерти Василия Львовича, здешние арзамасцы поминали своего старосту вотрушками (арзамасское прозвище В. Л. Пушкина. — Л. Г.), в кои воткнуто было по лавровому листу». В дни холерной эпидемии 1831 года Пушкин сообщает Вяземскому об Е. Хитрово: «Элиза готовится к смерти мученической и уже написала мне трогательное прощание».

Дядя Василий Львович, Е. Хитрово — обычные мишени пушкинских шуток. Но вот письмо к П. Плетневу от 11 апреля 1831 года: «Умер ты, что ли? Если тебя уже нет на свете, то, тень возлюбленная, кланяйся от меня Державину и обними моего Дельвига». Здесь в обыгрывание холерных обстоятельств вовлекается и столь дорогое Пушкину имя умершего Дельвига.

О смерти Дельвига Пушкин говорит и другим языком. Так, в письме к Плетневу от 21 января 1831 года: «Ужасное известие получил я в воскресенье... Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная... никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели».

Своеобразный «смеховой мир» пушкинских писем скрывает глубоко залегающие пласты жизненно важного, высокого, трагического.

Но ценности предстают не только в травестийном, замаскированном виде; порой они вторгаются в текст в своем прямом, адекватном словесном выражении. В этих прорывах к серьезному и высокому Пушкин всегда сдержан, чужд патетике и чувствительности; поэтому прорвавшиеся слова звучат особенно сильно. Так, например, в письмах

к Плетневу, к Кривцову, написанных перед женитьбой и отражающих неверие Пушкина в возможность счастья («Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты . . .»).

Иногда Пушкин переходит на язык политической прозы (размышления о греческом восстании, о Польше). С серьезным тоном сразу меняется стилистика писем. Наряду с лексикой к этим переходам очень чувствителен синтаксис. В шуточном тексте много коротких, отрывистых фраз, тяготеющих к тому, чтобы состоять из подлежащего, сказуемого и бьющих в цель определений, лексическая пестрота, в быстром темпе, без логических переходов сменяющиеся темы. Вместе с серьезным тоном появляются синтаксически развернутые, замедленные фразы. Они вытекают друг из друга; этому соответствуют иногда несколько архаические обороты речи.

И это не только в тех случаях, когда трактуются важные политические или исторические вопросы, но, например, и в строках письма к Дельвигу (23 марта 1821), посвященных брату Льву: «Друг мой, есть у меня до тебя просьба — узнай, напиши мне, что делается с братом, — ты его любишь, потому что меня любишь, он человек умный во всем смысле слова — и в нем прекрасная душа. Боюсь за его молодость, боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим — другого воспитания нет для существа, одаренного душою. Люби его, я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца, — в этом найдут выгоду». На фоне пушкинских писем к ближайшим друзьям это выглядит почти стилизацией.

От вторгшегося высокого слога Пушкин, как будто обрывая себя, часто спешит перейти к шутке, восстановить неустойчивый баланс несопадающих слов и реалий. Иногда разные уровни оценки противоречиво соединяются в одной фразе. «Письмо Жуковского наконец я разобрал. Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он святой, хотя родился романтиком, а не греком, и человеком, да каким еще!» (Л. Пушкину, май 1825). Пушкин говорит здесь, что душа Жуковского прекрасна, но «застенчивость чувства» не позволяет сказать это в лоб. Отсюда неожиданный оксюморон: «прелесть чертовская»; отсюда скользкий оттенок иронии в словах «небесная», «святой».

Предметом шуток Пушкина является то низкое и враждебное (антиценности), то истинные ценности, которые прославляет поэт, а эмпирический человек, оберегающий

свой внутренний мир, считает нужным маскировать смешным.

Так складывается важнейшая стилистическая категория писем Пушкина — *эвфемизмы высокого*.

МАНДЕЛЬШТАМ-ПАСТЕРНАК И ЧИТАТЕЛЬ 20-Х ГОДОВ

Речь здесь пойдет непосредственно о той среде, о которой я могу говорить по личным воспоминаниям, к которой я сама принадлежала. А именно о молодежи, группировавшейся вокруг Института истории искусств — одного из центров культурной жизни Ленинграда 1920-х годов. Среда эта — одно из характерных явлений противоречивого времени. Все мы были ценителями и страстными любителями стихов — от Державина и Батюшкова до Олейникова. Стихи были для нас не очередным чтением, но особой реальностью сознания. В сознании они всегда были наготове и по любому поводу поднимались на поверхность реминисценциями, цитатами. По ним мы сверяли свой душевный опыт.

Наше поколение успело уже пройти через ряд увлечений. Первое увлечение — Блок. Его значение было поистине экзистенциальным, жизнеоткрывающим. Потом Маяковский. Потом, как я осваивала «Облако в штанах»; твердила наизусть, вероятно, неделю, не отрываясь, не отвлекаясь. Диапазон увлечений был широк, и с Маяковским уживался Кузмин. Особенно «Сети», которые в 1929 году потеснила «Форель разбивает лед».

Замечу, что мы совсем не знали Цветаеву, хотя до эмиграции она уже успела издать несколько книг. Только в 27-м я впервые прочитала «Поэму конца» (в машинописном виде). Это было сильное впечатление.

К середине 20-х годов определилось, что сейчас главное — Пастернак и Мандельштам. «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации», «Tristia» и потом сборник 1928 года с разделом «Стихи 1921—1925 годов».

Началось с Пастернака; несколько позднее пришел Мандельштам. Этот читательский ход был типичен. Помню свой разговор с К. И. Чуковским. Он расспрашивал меня как-то об очередных литературных пристрастиях в Институте истории искусств. Я сказала: «Мы все увлеклись Пастернаком, но . . .» — «. . . но перешли на Мандельштама», — не дал мне договорить Корней Иванович.

Есть такое явление: парное восприятие писателей. Причем это пары-оппозиции: Толстой и Достоевский, Ахматова и Цветаева. Пастернак и Мандельштам предстали нам не оппозицией, а подобием. Это требующий объяснения исторический парадокс восприятия. Парадокс потому, что Пастернак и Мандельштам поэты разные и разного корня. Пастернак вышел из футуристической «Центрифуги» (этому предшествовало очень раннее увлечение символизмом), ушел от нее далеко, но сохранил футуристический принцип: любые слова в любых сочетаниях. У Мандельштама символистские истоки — Вячеслав Иванов, Сологуб, Анненский, Кузмин. Материалом клубящихся метафор молодого Пастернака служат неотобранные бытовые слова, спотыкающаяся разговорная речь. У Мандельштама периода «Tristia» избранные слова (выражение Пушкина) эллинского стиля, поиски красоты.

Почему мы все же воспринимали Пастернака и Мандельштама как поэтов одного плана?

Прежде всего в «Tristia» классичность Мандельштама вовсе не предполагала гармонию. Еще В. М. Жирмунский в посвященной «Tristia» статье 1921 года писал о таящихся за этой классичностью «метафорических полетах» Мандельштама. В наше время семантика Мандельштама подробно исследована в работах Ю.Левина, К.Тарановского, Д.Сегала, И.Семенко, Г.Левинтона, Бориса Гаспарова, Омри Ронена, Е.Тоддеса, В.Топорова, во многих других работах. В эти вопросы я здесь не буду вдаваться, но ограничусь проблемой сближавшей Мандельштама и Пастернака новой логики построения стихотворения.

Е. В. Невзглядова поставила вопрос об историческом изменении логики стиха. XX век разрушил в ней явные логические связи, последовательность, повествовательность развертывания темы, характерную для лирики XIX века¹ («Повод и сюжет в лирическом стихотворении»)

Даже у самых сложных поэтов XIX века, у позднего Баратынского, у Тютчева имеется повествовательная логика, некий рационалистический каркас стихотворения, иногда глубоко спрятанный. Б. В. Томашевский даже усматривал в структуре лирического стихотворения подобие силлогизма: «... Лирическое развертывание темы напоминает диалектику теоретического рассуждения... Типично трехчастное построение лирических стихотворений, где в пер-

¹ «Вопросы литературы», 1987, № 5, с. 138—141.

вой части дается тема, во второй она или развивается путем боковых мотивов или оттеняется путем противопоставления, третья же часть дает как бы эмоциональное заключение в форме сентенции или сравнения».

Рационалистический каркас можно обнаружить и у романтиков, и даже у символистов — у Брюсова он просматривается особенно отчетливо. Дальше всех отошел от этого принципа Анненский с его поэтикой *сцеплений*. Сцепление для Анненского важное теоретическое понятие. Но и сквозь сцепления Анненского, сквозь его «недосказки» проступает притаившаяся логическая связь мотивов.

Безоговорочно новую логику стиха принесли — по-разному — именно Пастернак и Мандельштам.

Пастернак, конечно, метафорический поэт, но, по верному определению Романа Jakobsona, он по сути своей метонимичен. Лирическое «я» метонимически рассыпано в несущемся во весь опор пастернаковском мире предметов и понятий. Тематический каркас исчезает в этом вихревращении. Не развертывание, а непрерывная смена конфигураций, как в калейдоскопе.

У Мандельштама логика стиха порождена небывалой энергией контекста. В поэзии первых десятилетий XIX века существовали еще заранее данные стилистические пласты, предназначенные для всеобщего употребления. Из них в отдельное стихотворение слово приходило уже с определенной лексической окраской. Чем дальше, тем большее значение приобретает индивидуальный контекст, внутренние связи отдельного стихотворения.

В поэзии Мандельштама контекст достигает предельного напряжения. И это уже не только внутренние связи. Это контекст всего творчества, в котором стихи, проза, статьи объясняют и отражают друг друга. И еще шире — это контекст других поэтов, поэзии вообще. Безграничность ассоциаций. Контекстуальность и ассоциативность культуры. Отсюда ключевые слова, сквозные мотивы, реминисценции, цитаты, намеки, которыми переполнены стихи Мандельштама.

Решающим для поэтики Мандельштама является изменение значений, вызванное их пребыванием в тугом контексте произведения; там они заражают друг друга на расстоянии, синтаксически даже не соприкасаясь. Такой текст — синхронное единство, в котором синтаксическое развертывание мотивов уступает место парадигме сцепления. Поэтические мысли, мотивы не выстраиваются в ряды,

но свободно блуждают в контексте, вступая в разные парадигматические связи.

В книге «Поэтика позднего Мандельштама» (1986) И. Семенко рассмотрела семантические ходы поэта от черновигов к окончательному тексту. Здесь отчетливо видно первоначальное блуждание мотивов, их неприкрепленность к определенному месту, по ходу работы свободное замещение другими, даже противоположными.

Прослежу блуждание мотивов на примере стихотворения «За то, что я руки твои не сумел удержать...» (1920, «Tristia»).

В этом стихотворении образ поэта, потерявшего свою возлюбленную (он ее «не сумел удержать») проецируется на античное действо — Елена и Троянская война. В тексте существуют три точки отсчета. Три перебивающих друг друга голоса. Точка зрения троянца — тема Париса, овладевшего Еленой ценой собственной гибели и гибели своего рода и города. Точка зрения ахейца — тема Менелая, потерявшего Елену. И точка зрения поэта, потерявшего возлюбленную.

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать,
Как я ненавижу пахучие, древние срубы!

Поэт начинает стихотворение прямым разговором о своей любовной коллизии. И сразу же в текст вступает, с тем чтобы удержаться в нем до самого конца, тема сухого, деревянного мира: срубы, пила, деревянные ребра города, деревянный дождь стрел, стрелы, как орешник... Сухость — одно из ключевых слов Мандельштама 20-х годов и в контексте оно означает ущербность, бессилие, жизненную недостаточность (об этом подробнее я писала в статье «Поэтика Осипа Мандельштама»). Человек заключен в ненавистном ему деревянном мире, и это возмездие за сухость, за жизненное бессилие.

В том же 1920 году Мандельштам написал стихотворение, в котором любовная тема предстает без античного покрова. Как это часто бывает у Мандельштама, оно дублирует и объясняет другой текст; в данном случае стихотворение «За то, что я руки твои не сумел удержать...»

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,

От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Здесь уже прямо расшифровано значение сухости и дремучести.

По своему положению в сюжете стихотворения поэт должен отождествляться с ахейцем, потерявшим Елену. Но отождествление сразу срывается — согласно мифу, в троянском акрополе до рассвета могли находиться только троянцы. На неясность отождествления авторского «я», колеблющегося между ахейцами и троянцами, указал М. Л. Гаспаров в статье «За то, что я руки твои...» — стихотворение с отброшенным ключом»,¹ он проанализировал противоречивую структуру стихотворения.

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Во второй строфе продолжают сюжетные сдвиги — по античному мифу, стены пробили не ахейцы, а сами троянцы, когда они утром втащили деревянного коня в акрополь. Последний стих строфы — точка отсчета поэта, обращение к возлюбленной, упущенной им, отождествляемой с Еленой. Поэтому кровь поэта сухая, ущербная. В отличие от первой строфы с ее троянской точкой зрения, здесь поэт, лирическое «я» несомненно отождествляется с ахейцем. Мотивы начинают блуждать.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Третья строфа продолжает ахейскую идентификацию поэта — тему Менелая, опрокинутую в современность, в лирическое настоящее. Во втором полустишии опять логический сдвиг. Топор еще не врезался в древесину, тогда как в предыдущей строфе ахейцы «зубчатыми пилами в стены

¹ Преподавание литературного чтения в эстонской школе. — Таллин, 1986, с. 77—81 и др.

вгрызаются крепко». Мотивы перемещаются, как бы не прикрепленные в тексте к своему месту.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

В первом полустиишии четвертой строфы — деревянный мир, ущербная сухость — мотив обреченной Трои. Второе полустиишие — опять ахейская тема. Сухая, ущербная кровь поэта сменяется бурной кровью победоносного войска. Здесь кровь — жизненная сила.

Последняя строка передает ахейцам любовную тему стихотворения. Возлюбленная поэта замещена Еленой. Всплывают строки из стихотворения «Бессонница, Гомер, тугие паруса . . .»

Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
(1915, «Камень»)

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

В пятой строфе лирическое «я» оттеснено троянской точкой зрения. Оно только мерцает сквозь лирическую печаль о разрушенном городе. Сухой, деревянный мир побежденных. Гибельные стрелы падают деревянным дождем, и они же, упав на землю, растут, как дерево (орешник).

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

Заключительная строфа снимает с лирического события античный покров. Поэт возвращается в настоящее. Ведь не в Трое же находится окно, в которое к нему стучится ласточка. Античный миф ушел, но остались его словесные следы: стогны, вол. Здесь же и ключевые, сквозные слова Мандельштама — звезда, ласточка. Это знаки общего контекста творчества. Но есть и знаки данного контекста. Так, образ утра соотнесен со сменяющим ночь рассветом пер-

вой строфы, со стихом «Еще не рассеялся мрак . . .», Но в пределах контекста поэт уже вышел из условного мифологического действия в современное лирическое настоящее. Заключительная строфа не завершает тему: напротив того, не позволяет ей закрыться.

Здесь умышленно взято стихотворение, в котором общеизвестная мифологическая фабула как бы предрешает связное движение мотивов. Именно на таком сопротивляющемся материале хотелось показать новую логику стиха. Согласно этой логике в стихотворении «За то, что я руки твои не сумел удержать . . .» мотивы не развертываются, но свободно блуждают в тугом контексте; и поэт в нем то троянец, то ахеец, его возлюбленная то античная Елена, то современная женщина. В дальнейшем соотношенность блуждающих мотивов становилась у Мандельштама все острее и сложнее. Предела эта заостренность достигает в стихах воронежского периода.

Новую логику стиха другими средствами осуществлял и Пастернак. Вот почему двух этих удивительных поэтов их молодые современники воспринимали не во взаимной оппозиции, но в их общности.

ПИСЬМА БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Как одно из средств человеческого общения письма имеют разное назначение. Они несут всевозможную информацию, они содержат размышления, наблюдения или выражают эмоции. Они удовлетворяют настоятельную потребность человека в самоотчете, в том, чтобы осознавать и фиксировать протекание своей жизни. Те же функции выполняют письма писателей или тех, кто осуществлял свой литературный дар именно в эпистолярной форме (пример — знаменитые письма госпожи де Севинье). Письма писателя не всегда литература. Но и в этом случае часто есть связь между ними и его писательскими задачами.

Существовали исторические периоды, когда в общей связи фактов культуры письма приобретали специфическую значимость. Обычно это периоды особенно острого самоосознания и самоопределения личности. В русской культуре такова переписка в духе сентиментализма конца XVIII — начала XIX века. Ей на смену приходит жанр *дружеского письма* арзамасского (Вяземский, Александр Тургенев), а потом и пушкинского круга. Русский романтизм 1830-х годов — это, например, переписка с невестой молодого Герцена, которую сам автор определял как двухголосую *поэму*. В 1840-х годах напряженная проблематика личности порождает жанр философско-исповедального письма, процветавший в кружке Станкевича--Белинского. Для второй половины XIX века письмо как жанр, как литературный факт гораздо менее характерно. В этом качестве его возрождают индивидуалистические искания символистов. Тому свидетельство — письма Блока к невесте, его переписка с Андреем Белым.

К какому же эпистолярному типу относятся письма Пастернака? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Охват этих писем широк. Они и литературный факт, и бытовая и автобиографическая информация. В них размышления о творчестве и автохарактеристики, разговор об отношениях с жестокой действительностью и признания в любви. Пестрое содержание, отливавшееся в разные формы.

Формы менялись в зависимости от разных причин. Прежде всего от хронологии. Здесь со временем тот же уход от сложного и изысканного, те же поиски простоты, которые так характерны для поэтического опыта Пастернака. В какой-то мере эти поиски внушены были Пастернаку непомерным давлением времени. Но он осмысляет его требования философски, осваивает их писательски.¹ Тот же процесс упрощения и в письмах. Что особенно очевидно на материале многолетней переписки с О. М. Фрейденберг.

Тематические и стилистические изменения в письмах Пастернака соотнесены также с его адресатами. Можно проследить, как в общении с разными корреспондентами складываются разные эпистолярные сюжеты и стили.

Так, из писем к Горькому явственно вырисовывается единый сюжет: обращение недостойного ученика к Учителю жизни. «У меня, разумеется, есть свои непоколебимые представления о Вашей силе, охвате и историческом значении, о глубине и почти что вездесущности Вашей души» (7 января 1928). Для Пастернака Горький — великий писатель и великий революционер. Он называет Горького *персонификацией* революции. «...Естественная читательская благодарность тонет у меня в более широкой признательности Вам как единственному, по исключительности, историческому олицетворению. Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где бы была ее *правда*, если бы в русской истории не было Вас» (10 октября 1927).

Превознесению адресата противостоит отрицательная оценка самого себя, от письма к письму настойчиво повторяющаяся. Особенно отчетливо эта самооценка сформулирована в письме от 4 марта 1933 года: «Мне не на что жаловаться, Алексей Максимович, — в никчемности и несостоятельности всего мною сделанного я убежден горячее и глубже, чем это звучит в холодных и довольно еще снисходительных намеках критики или предполагается в сферах, куда мне нет доступа отчасти и потому, что меня туда не тянет».

Самоотрицание по отношению к Горькому принимает устойчивую форму чувства вины. Нашелся и конкретный повод. В 1915 году Горький в отредактированном виде напечатал (журнал «Современник») пастернаковский пере-

¹ Пастернак даже уверял, что стремился к простоте изначально, понимая под простотой присущую его раннему творчеству спонтанность, первозданность восприятия мира.

вод пьесы Клейста «Разбитый кувшин». Не зная, что правка принадлежит самому Горькому, Пастернак направил ему письмо с резким протестом против бесцеремонного обращения с его авторским текстом. Недоразумение выяснилось. Эпизод этот — к нему Пастернак возвращается годы спустя — становится неиссякаемым источником чувства вины, образует в его письмах к Горькому устойчивую сюжетную линию.

Признание собственной неполноценности, «несостоятельности» в письмах к Горькому достигает своего апогея. Но тот же мотив настойчиво проходит и через письма к другим адресатам (в том числе к Фрейденберг). В письме к Тихонову (21 апреля 1924) Пастернак говорит о «скуке и тупоумии» поэмы «Высокая болезнь» — одного из величайших своих творений. В письме к Шаламову называет книгу «Темы и вариации» — «отходами от «Сестры моей жизни», «отброшенным браком». Все это сопровождается самыми высокими оценками творчества своих адресатов.

В «Охранной грамоте» Пастернак утверждал, что «смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость».

Если суммировать самооценки Пастернака, то получается: отрицание своих ранних стихов, с оговорками признание поздних, и — признание подлинным делом своей жизни романа «Доктор Живаго» — о нем много говорится в письмах к Шаламову, к Фрейденберг. В связи с работой над романом Пастернак 20 марта 1954 года пишет Фрейденберг: «... Писать их (стихи.— Л. Г.) гораздо легче, чем прозу, а только проза приближает меня к той идее безусловного, которая поддерживает меня и включает в себя и мою жизнь, и нормы поведения и прочее и прочее, и создает то внутреннее, душевное построение, в одном из ярусов которого может поместиться бессмысленное и поштыдное без этого стихописание».

Творческое самоотрицание имеет в русском культурном сознании большую традицию, традицию Гоголя, Толстого. Но они отрицали свое творчество позже, на другой ступени своего развития. Одновременное, в разгаре творческих усилий самоотрицание большого поэта, вероятно, беспрецедентно. Мы встречаем его разве что у Тютчева. Но Тютчев был великим поэтом, не будучи профессиональным писателем. С позиции дилетанта он мог себе это позволить. А Пастернак? Не было ли его самоотрицание своего рода ролью, маской, уже сросшейся с личностью?

Во всяком случае, настойчивое самоотрицание Пастернака уходит в какие-то глубинные свойства его психики. Наряду с творческими соответствующие психологические автохарактеристики, признание своей человеческой «неполноценности». «Боже, до чего я люблю все, чем не был и не буду, и как мне грустно, что я это я» (письмо к Цветаевой от 1 июля 1926). И Фрейденберг, и Цветаевой Пастернак пишет об угнетающих его комплексах, о своей «страдательной» жизненной позиции.

А за маской — могучий творческий напор, смыывающий всяческую «неполноценность», неукротимая любовь к претворяемой в стихи жизни, которую он назвал Сестрой. Это в молодые годы, а в 1953 году (20 января) он пишет Фрейденберг, вспоминая перенесенный инфаркт: «В первые минуты опасности в больнице я готов был к мысли о смерти со спокойствием или почти с чувством блаженства... Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил Бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света, и тени, и жизни, и смерти, и за то, что он сделал меня художником, чтобы любить все его формы и плакать над ними от торжества и ликования».¹ В экстремальном положении упала маска «несостоятельности».

Письма Пастернака к Горькому — письма к учителю, к старшему. К Николаю Тихонову от относится как равный. Возникает другой тип письма — письмо как средство профессионального, дружеского общения. Это переписка поэтов, с разговором о литературе, о творчестве своем и творчестве адресата.

Отчасти к тому же типу принадлежит и переписка с Варламом Шаламовым. Но в этом случае Шаламов является младшим, и он обращается к Пастернаку как к учителю. В то же время в этой переписке разговор о литературе поднят на высоту рассмотрения самых больших жизненных вопросов и решения насущнейших творческих задач.

Переписка Пастернака с Шаламовым началась в 1952 году, когда Шаламов находился еще в ссылке на Колыме (из лагеря он освободился в 1951 году). Тем самым в эту

¹ О том же душевном опыте и почти теми же словами Пастернак писал Н. А. Габидзе 17 января 1953 года (см.: Борис Пастернак. Избранное. В 2-х томах, т. 2 М., 1985, с. 472). То же переживание отразилось в стихотворении 1956 г. «В больнице».

переписку вторгается еще одна тема — тема трагической судьбы Шаламова. Вот почему особую значимость в письмах к Шаламову приобретают оценки социальной действительности.

«Ужасна эта торжествующая, самоудовлетворенная, величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная» (27 октября 1954). Но отношение Пастернака к социуму никогда не было одномерным: оно отливалось в двойственную форму отталкивания-притяжения. Характерны в этом плане строки из письма к Шаламову от 9 июля 1952 года: «Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности ложно направленных толчков...» Отрицание «эстетических прихотей» модернизма переходит здесь в самоотрицание социальное. Это все то же традиционное для русской интеллигенции пастернаковское понимание коллизии интеллигенции и революции, понимание, породившее строки «Высокой болезни» об интеллигенте, который

Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

Чересполосицей в оценке социума отмечены и письма Пастернака к Фрейденберг. В поздних письмах он говорит о «страшных годах», удивляется тому, что «уцелел... за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!!» (7 января 1954). Но именно в 30-х годах Пастернак пробовал найти оправдание действительности, оправдание, которому сопротивлялась его человечность — и потому провизанное двоящимися оценками. Он пишет Фрейденберг 18 октября 1933 года: «Страшно рад нашему единодушию, сложившемуся в разных городах, без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положениях... На партийных ли чистках, в качестве ли мерил художественных и житейских оценок, в сознании ли и языке детей, но уже складывается какая-то еще не названная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны». Те же настроения в письме к Фрейденберг от 3 апреля 1935 года. Но уже

в 1936 году (1 октября) Пастернак с отвращением пишет ей о развернувшейся тогда травле интеллигенции (дискуссии о формализме в искусстве).

В противоречивой, в мучительной форме осуществлялось неизбежное пастернаковское стремление найти свое место в новом обществе.

Об этом стремлении Пастернак писал — вспоминая пушкинские «Стансы» — в программном стихотворении 1931 года:

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличие от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

Тягу Пастернака к труду «со всеми сообща» сталинская пора подвергла жесточайшим испытаниям. Это отражено в его письмах.

Среди эпистолярного наследия Пастернака две самых монументальных переписки — это переписка с Мариной Цветаевой и с его двоюродной сестрой Ольгой Михайловной Фрейденберг. Письма к Цветаевой и отчасти к Фрейденберг — это любовные письма, но в совсем особом, уникальном роде. В одном случае объектом любовных признаний является большой поэт (по своему обыкновению Пастернак ставит ее выше себя), в другом случае — будущий большой ученый, с самого начала выдающийся интеллектуальный партнер.

Переписка с Цветаевой, особенно переписка 1926 года, воспринимается сейчас как литература, как своего рода трехсторонний (третий участник — Рильке) роман в письмах. Роман, организованный проходящим мотивом встречи-невстречи. Присутствие Рильке образует своеобразный сюжетный треугольник, замечательный тем, что участники его никогда не видели друг друга.

Для Цветаевой такое соотношение было не случайностью, а эмоциональной нормой. 9 мая 1926 года она пишет Рильке о Пастернаке: «... Люблю его, как любят лишь никогда не виденных (давно ушедших или тех, кто еще впереди: идущих за нами), никогда не виденных или никогда не бывших».

Трехсторонний роман в письмах — это инициатива Цветаевой, и весь он окрашен ее страстной, захлебывающейся интонацией. Стилистика Цветаевой — суммарный романтизм, переработанный опытом литературы XX века с ее языком, раскрепощенным от всяческих норм.

Письма Пастернака к Цветаевой — это письма к поэту, и в них много говорится о творчестве, ее и своем. Пастернак восторженно отзывается о «Поэме Горы» и «Поэме Конца», дает обширный, чрезвычайно подробный разбор поэмы Цветаевой «Крысолов», содержащий положения, важные для понимания эстетики Пастернака.

Но эта переписка поэтов в то же время переписка влюбленных, хотя и странных влюбленных, «никогда не виденных» друг другом. У Пастернака отношение к любимому поэту и к любимой женщине двойится и скрещивается. «Про страшный твой дар не могу думать... Открытый... и ясный твой дар захватывает тем, что, становясь *долгом*, возвышает человека. Он навязывает *свободу*, как призванье, как край, где тебя можно встретить».

Обширное письмо от 2 июля 1926 года посвящено цветаевскому «Крысолову». Но тщательнейший анализ поэмы прерывает вдруг вторгшаяся любовная тема: «И опять — живопись, живопись. Живопись и музыка. Как я люблю тебя! Как сильно и давно! Как именно эта волна, именно это люблю, к тебе ходившее когда-то без имени, было тем, что проело изнутри мою судьбу... Как именно *потому*, по роду *этой* страсти, я медлителен, и неудачлив, и таков как есть... Все это в духе этого чувства. Всего этого не изменить. Это я собственно про «Детский Рай» (возвращение к «Крысолову». — Л. Г.). Жестокая и страшная глава, вся вылившаяся из сердца, вся в улыбке, и — жестокая, и страшная». Скрестились любовь и творчество.

Трехголосый роман в письмах организует и вдохновляет Цветаева. И она заражает двух других корреспондентов своей стилистикой. В этой переписке Пастернак тоже идет путем романтической приподнятости, безудержного метафоризма. И все же принцип словоупотребления у него другой, пастернаковский. Цветаева это чувствовала. «У нас разный словарь», — говорит она в письме от 1 июля 1926, где жалуется на то, что долго не могла понять рассуждения Пастернака о «Крысолове».

Стилистика писем Пастернака к Цветаевой порой напоминает язык его стихов. Прежде всего это употребление в одном контексте и на равных правах слов изысканных,

поэтически приподнятых и самых обиденных, носителей всего того, что Пастернак в письме к Цветаевой называет *жителейщиной*.

А вперемежку с «жителейщиной» стихоподобное одушевление вещей: «Но такая буря ежедневных примет! Все торжествует, забегает вперед, одаряет, присягает» (5 мая 1926 года). Или непредсказуемые скрещения значений, пастернаковские познавательные синтезы: «Вот он твой ответ. Странно, что он не фосфоресцирует ночью» (5 мая 1926). Перекликается со стихами описание городского лета в письме от 1 июля 1926: «Я боюсь лета в *городе*, потому что это чистая сводка наисущественнейших существенностей живого, бытийствующего человека, причем каждая из существенностей этих дана наизнанку и *извращена*, начиная от солнца и кончая чем тебе заблагорассудится. Одиночество дано в таком виде, в каком одиноко сумасшествие или одиноки муки ада. Тема жизни или одна из ее тем подчеркнута зверски и фанатически, с продырявленьем нервной системы. Пыль, песок, духота, африканская жара». Здесь на равных правах и философская речь, и повседневная, и поэтические образы, и такие излюбленные Пастернаком *неподходящие* для стихов слова, как *заблагорассудится*. Увлекаемый потоком цветаевской патетики, Пастернак в то же время сохраняет особенности мышления, лежащего в истоках его стихового мира.

Подобное вторжение специфически пастернаковского поэтического мышления наблюдается и в письмах к Фрейденберг. К 1910 году относится стихотворение Пастернака о московских заставах. В том же году (23 июля) он пишет Фрейденберг: «... Я хотел рассказать тебе сказку о заставах, о той самой заставе, где я находился в тот миг, где улица, такая простая, привыкшая к себе, прямо погребенная под какой-то мощеной привычкой тротуаров, такая простая и привычная в центре, — переживает на *прóводах* больших дорог, где кончается город, глубокое потрясение, где она взволнованная машет клубами пыли горизонту на зеленой привязи, где она изменяет себе и, оставаясь теми же раскатами города, начинает сентиментальничать одноэтажным и деревянным, как элементами высшей нежности... О заставе духа, о заставе, где сходятся улицы, где они своим свиданьем обязаны границе, начинающей не вымощенные словами духовные «пространства», и где эти улицы становятся крайностью, вывесками, вперившимися в лужайки с жестянками от консервов, вывесками, спускаю-

щимися с окраины в огородную природу навстречу небу, как Иоанну Крестителю . . .»

Эти строки, предвосхищающие семантику сборников «Сестра моя жизнь», «Темы и вариации», написаны в пору самых ранних поэтических опытов Пастернака.

Но вот письмо к Фрейденберг гораздо более позднее, 1926 года (21 октября). В нем Пастернак подробно рассказывает о том, что собирается ставить в своей комнате перегородку, о цене этой перегородки и связанных с нею хлопотах. И вдруг происходит переключение. На повседневную речь о топке печей и высыхании штукатурки проецируется поэтическое мышление Пастернака. «. . . Стояли сквозняки, шел мокрый снег, и его заносило в комнату, и по обе стороны темно-серого текучего известкового компресса клубился горячий, сдобренный раскаленным железом угар. Ты это себе представляешь, и жизнь неизвестно где, пока капризничает сырая каменная каша, заваренная впрок, к новоселью, на насморках, ревматизмах и прочих прелестях».

Переписка Пастернака с Фрейденберг имеет особое значение. Фрейденберг принадлежат замечательные письма — замечательные силой ума, таланта, остроумия, блестящей выразительностью своеобразного слога.

Отмечу заодно высокий эпистолярный уровень писем дочери Цветаевой Ариадны Эфрон, которую в тяжелейших условиях ссылки Пастернак поддерживал короткими письмами и денежными переводами.

Тональность писем Пастернака к Фрейденберг иная, чем его писем к Цветаевой; она соответствует эпистолярной тональности адресата. Если в письмах к Цветаевой единство интонации, то в письмах к Фрейденберг — пестрые языковые пласты: шутка, неологизм, язык обыденный, язык интеллигентского общения и язык философский, вообще теоретической мысли, поставленной на службу пастернаковской образности. Эта стилистика заставляет вспомнить высокую «болтовню» дружеской переписки пушкинской поры. В этом именно смысле о болтовне «веселой или грустной» говорит и сам Пастернак (21 октября 1926).

Особое значение переписке с Фрейденберг придает и ее временная прогяженность — от 1910-го года до 1950-х годов.

Самые ранние письма — любовные. Со всем своеобразием любовных писем, обращенных к высокоинтеллектуальному адресату. «. . . Я влюблен в Мерреколь, нашу поездку, первый вечер . . . Стрелку, Петербург, тебя во всем этом,

в вокзал, во все, что непрестанно задавалось *мне и тебе вдвоем* — и вот только в конце вся тяжесть признания, все признание» (23 июля 1910). Признание возникает из многих философских и психологических размышлений. И потому Пастернак заканчивает любовное письмо словами: «...прошу тебя простить мне этот теоретический просеминарий».

Любовная тема скоро уходит, на десятилетия остается дружеская переписка огромного биографического охвата. Это разговор с Фрейденберг обо всем — о жизни и смерти, о своем творчестве и ее научных работах, о трудном быте и семейных неурядицах, о семейном счастье со второй женой.

В переписке переплетаются две драматических судьбы — поэта и ученого. Над идеями Фрейденберг издеваются невежды, ее пытаются отлучить от науки. Удел Пастернака — сначала постоянная нужда, мешающая работать неустроенность. Потом начинаются преследования. Тупая брань критиков. Пастернака перестают печатать. В зрелые годы — материальное благополучие, но ценой лихорадочной работы над переводами. Переводы Пастернака (Шекспир, «Фауст» Гете, грузинские поэты, многое другое) — драгоценное наследие. Но сквозь этот монументальный труд он только урывками пробивается к собственному творчеству. Он постоянно пишет о том, сколько ему нужно заработать для большой семьи, чтобы иметь возможность некоторое время писать *свое*. А *свое* остается в письменном столе. И в письме 1954 года (12 ноября) он говорит о своей «простой, безмянной, никому не ведомой трудовой жизни». Так в письмах к Фрейденберг разворачивается историческая трагедия Пастернака.

В своей совокупности эпистолярное наследие Пастернака являет разные типы письма, стилистику, меняющуюся в зависимости от периодов развития Пастернака и от его разных адресатов. Но у писем этих есть проходящие, сквозные мотивы и темы. Психологическое самоопределение, любовь и семья, мучительные и исполненные пафоса отношения с социумом. И важнейшая тема — творчество.

Сквозь письма проходит стремление подчинить поэзию прозе, отрицание своих стихов. Но подспудно это самоотрицание преодолевается неотменяемой влюбленностью художника в жизнь, во все ее «формы», над которыми он плачет «от торжества и ликования».

Из поздних писем Пастернака вырисовывается его отношение к роману «Доктор Живаго» как главному своему

делу и единственному бесспорному достижению. Вырисовывается то высокое нравственное значение, какое имела для него работа над романом.

13 октября 1946 года Пастернак писал Ольге Фрейденберг: «Собственно это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского,— эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое».

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Судьба распорядилась так, что Лидия Яковлевна Гинзбург прожила все-таки долгую жизнь: 18.03.1902 — 15.07.1990. Между двумя этими датами огромная дистанция, вместившая в жизнь человека все коллизии века — террор, войны, молчание, полупризнание, наконец — признание и славу.

Книга, которую вы держите сейчас в руках, — последняя книга Лидии Гинзбург, названная «Претворение опыта», была окончательно составлена ею в последние недели жизни. Действительно — опыт претворен, претворен в трех инстанциях, четко разграниченных композицией публикуемых текстов: большое произведение «Записки блокадного человека. Вторая часть», эссе и записи разных лет и статьи о писателях, написанные в самые последние годы. Думается, что соотношение масс этих разделов-инстанций весьма выразительно. Дело в том, что литературовед Лидия Гинзбург (доктор филологии, ученый с мировым именем) всю жизнь писала прозу, — как говорится, в стол, прозу непредставимую на отечественных книжных страницах в течение почти всей ее долгой жизни. Первая часть «Записок блокадного человека» была опубликована в 1984 году, а в 1989-м вышла в свет целиком прозаическая книга «Человек за письменным столом». Так что стаж печатающегося прозаика — всего семь лет...

А повествования, объединенные одним персонажем, центральным действующим лицом, который в рукописях «Мысли, описавшей круг», «Возвращения домой», «Записок блокадного человека», «Заблуждения воли» — именовался Оттером, писались с конца двадцатых годов, многожды переписывались, радикально перерабатывались; а эссе и записи — с середины двадцатых, всю жизнь, до самых последних дней.

Думается, что в этой книге впервые выстроена реальная иерархия писательского труда Лидии Гинзбург. Не случайно статьи попали лишь в последний раздел. В конце концов ей удалось снять камуфляж литературоведа (кстати, Лидия Яковлевна ненавидела это слово-гибрид, выращенное в пробирке новояза, предпочитала — историк литературы).

И теперь становится ясно, что ее знаменитые, замечательные теоретические труды «О психологической прозе», «О литературном герое», «О лирике» — автокомментарий, к своей новаторской прозе, автокомментарий волею судьбы опередивший сами тексты. Может быть, придет еще время воспринять все написанное ею в едином полном контексте. Но разъединим прежде, чем складывать. Это краткое редакторское послесловие и посвящено специфике, новизне ее творческого метода.

* * *

Лидия Гинзбург написала когда-то: «Моя тема: как человек определенного исторического склада подсчитывает свое достояние перед лицом небытия». В этой фразе аккумулирован весь жизненный смысл пишущего человека, в ней сделана оставшаяся в воле человека последняя ставка — ставка на осмысление себя, связанного с реальностью, зависимого от нее и противостоящего ей. А реальность все минувшие годы была ежедневно доказываемой реальностью личного небытия, реальностью жизненной вероятности, роковой очереди, тотального унижения, реальностью разрушаемых связей.

Как человек подсчитывает свое достояние? Ревностно, алчно, безразлично? Рассеянно, в предельном аналитическом внимании? Волнуется ли он, борется ли с бессмысленным и хаотичным? Недоумевает, негодует? На что из череды минувшего направлен его мысленный взор? Что он ждет от этого подсчета?

— Установления непосредственной реальности прошедших страданий и радостей; восстановления и новых доказательств поруганных ценностных связей; объективации мотивов своих случайных поползновений; утверждения действительности и целостности минувшей жизни...

Этим промежуточным, ускользящим состояниям сознания посвящены многие страницы прозы Лидии Гинзбург. Как человек осуществляется в своем жизненном пределе? Вопрос этот не оставлял ее никогда. Приведу цитату из записи 1989 года: «Никем не разделенная жизнь не тождественна, но странно подобна бесцельности, самосознанию, не имеющему содержания, дико остановившемуся времени, от которого кружится голова. И страшно. Но такая правда об одиночестве находит только минутами. В остальном мы отвлекаемся». Здесь вполне уместно

провести обратную параллель с Марселем Прустом, письмо которого — отражение, скажем, прожитого дневного волнения, страсти, но пишется оно — когда все уже улеглось, когда стерся физиологический непосредственный набор признаков, не позволяющих отвлечься от переживания своего экстремального состояния. Пишущий человек алчет утраченной дневной тревоги, алчет пережить еще раз ее абсолютность, он хочет описать — как ничего нельзя хотеть в минувшем состоянии; поэтому мысль его, обязательно покрытая напластованиями метафор, ничем не напоминает трезвый оценочный силлогизм. У Лидии Гинзбург напротив: мысль как бы вламывается в само экстремальное состояние, так как устроена настойчиво-аксиологически. Осуществление себя в реальности для Лидии Гинзбург возможно лишь через непосредственное осмысление не только своей эмоции (как у Пруста), но и мысли о невозможности осмысления себя в экстремальном состоянии. Поэтому такая аналитическая широта ее прозы, где исследуются не только смыслопорождающие эмоции, где актуализируются не только их слепки в памяти, но и все смежные области — безусловно ценностные, волнующие.

Если «лирическое» у Пруста — введение в домашний интимный круг чувств, отношений, вещей, то есть осуществления личной жизни как интереса к пережитому, но описываемому в данный момент; то у Лидии Гинзбург — само описание, то есть осмысление жизненного процесса в сиюминутной данности выступает как «лирическое», как качественно новое и небывалое в литературе. Ее мысль не о эмоции, обнаруживаемой по сумме признаков, а о мысли, уловившей это состояние. Мысль о мысли. «Я слово позабыл, что я хотел сказать», — писал Мандельштам об ускользающем состоянии напряжения, которое, по сути, и есть мысль, возможная лишь в жизненном пределе, длить который человек не всегда силен. Лидия Гинзбург смогла не забыть эту «слепую ласточку», может быть, потому (выскажу предположение, хотя косвенные подтверждения этому есть), что записывала это ускользающее слово немедленно, в момент возникновения изменения сознания, ибо, вслед за Декартом, существование для нее было постоянным осмыслением, фиксацией его всевозможных признаков и черт. Конечно — такой способ письма напоминает дневниковый, но он все же иной — в этом случае дневник как бы сам втянут в письмо. Дневник — не отражение дня, а соучастник текущей жизни, где все события, поползновения событий уже есть абберация по-

тенциальной записи. За всем этим возникает совершенно новая интеллектуальная фигура — не только человека разумного (то есть знающего, понимающего добро и зло), но человека пишущего (конкретно вочеловечивающего свой разум). Кроме того, эта фигура публична, так как то, что она делает, не просто автописьм: слишком велика его (письма) ценностная нагруженность.

Событийная канва повествований, публикуемых в этой книге, подобная поводу для осуществления мысли, дана лишь всполохами, пунктиром (прислушайтесь к гаму переключек, телефонных разговоров в «Записках блокадного человека»), некоторым вводным словом, с которого начинается беседа — вроде наших «знаете ли», « послушайте . . . ». Вроде бы все, что описывается, происходит с некоторым человеком, но не он сам, а его осмысляющее сознание — полнокровный герой повествований. Именно мысль, думающая самое себя, осуществляющаяся в философической определенности, показанная как изменение изменения, как овеществленное усилие, не могущая уйти (в отличие от самого человека — ее носителя) в небытие, — постоянный центр ценностного притяжения для Лидии Гинзбург. Жизнь в предельном аналитическом внимании, сгущенном до телесного волнения, проявляемая в постоянном борении с бессмысленным, хаотическим, то есть неживым.

Но не сверкают ли по ходу осмысления сущего выпуклые стекла лирического бинокля, своевольно укрупняющего все-таки субъективно-частное, личное? Не примета ли это лирики? Хотя тут не летучая, как эфир, телесная теплота мира улавливается авторским вниманием, а сам процесс постижения этого «температурного градиента» попадает в перекрестье зрительного и умственного поля. Аналитические приметы этой прозы скрыто-лиричны, таковы же, по сути, и обманчиво-научный словарь, и сумма социальных ракурсов, и пристальный истори́зм.

Радость, печаль, укоризна, упование — состояния человека, ясные ему и без определений; но в прозе Лидии Гинзбург, анализирующей, сканирующей их, также вне называний, а в процессе как бы «подсмотренной мысли», во всей ее наготе, сухости, отчетливости, — они (состояния эти) выносятся, подобно могучему всеподчиняющему множителю, за скобки, внутри которых жизнь осуществляется как сосредоточенная сумма обстоятельств. Человек живущий, постоянно находящийся перед лицом небытия, свидетель и участник разрушения ценностных механизмов, человек, все-таки неотделимый от мыслящей субстанции, — вот

персонаж Лидии Гинзбург. При полной анонимности, сродни кафкианской, борьба его с деструкцией мира, противостоящая умиранию, — сюжетообразующий стержень этой прозы, оправдание опыта, его претворение. Предмет описания этой прозы ценностно выражен, определен, структурирован, понят. Опыт, недостаточно отжатый, не сводимый к идее, — осознанно отвергается. Бритвенное лезвие недоверия не удастся просунуть между двумя словами этой прозы.

Лидия Гинзбург показала, как многоярусная психическая архитектура человека заземлена бытом, скреплена бытовыми связями — предельными, элементарно неразрешимыми. И человек, строящий из них свой характер, не в силах осмыслить ныне даже единичного обстоятельства своей жизни, не жизни, собственно, а сакральной очереди, развернутой на всем пространстве бытия, не могущей уже оскорбить заизвесткованную психику. Со всей отчетливостью в эссе «Осуждение стихов» и «Собрание» она показала, как именно эта примета тоталитаризма уничтожила человеческий характер, подменила его суммой рефлексов на элементарные обстоятельства жизни, обрекла великому терпению и молчанию, которые оказались для их носителя куда более разрушительными, чем все войны и революции. Иерархии максимально простые и ясные, сублимированные в «Но мы же советские люди . . .», учитывающие все, кроме Свободы, породили нового человека, длящего свое существование в коммунальной ячейке, не инициированного еще из октябрят, по-детски озабоченного своей фундаментальной неприменимостью, но уже безнадежно усталого от судорожных, тщетных попыток осуществиться *здесь и сейчас*, в этом взрослеющем подростково-жестоком времени, но дождавшегося, наконец, своего испепеляющего будущего.

А что касается жанра этой литературы, то он определен заглавием — «Претворение опыта».

Николай Кононов

СОДЕРЖАНИЕ

Записки блокадного человека	3
Записи 40-х годов	81
Записи разных лет	135
О писателях	201

Лидия Гинзбург
ПРЕТВОРЕНИЕ ОПЫТА

Редактор Н. Кононов
Худ. редактор В. Решетов
Техн. редактор Л. Амбайне

Сдано в набор 21.09.90. Подписано в печать 26.10.90. Формат 84×108/32. Типографская бумага. Гарнитура Таймс. Высокая печать. 12,60 усл. печ. л.; 13,02 усл. кр.-отт.; 12,42 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 845. Цена 4 руб. 60 коп. Издательство «Авотс», Рига. Отпечатано в типографии «Рота», 226011, Рига, ул. Блауманя, 38/40.

Гинзбург Л.

Т-492 Претворение опыта; Художник В. Решетов. Р.: Авотс.
— 240 стр.

В этой книге тесно переплетены судьбы блокадных людей, многие из которых живы и ныне. За аббревиатурами просматриваются характеры, жизненные принципы, странности и причуды керстных ленинградцев. Из-под пера талантливого публициста выходит жизнь, без которой трудно верно оценить сегодняшний день.

ISBN 5-401-00676-4

4702010201—172

Т —————
М 803(11)—91

